

Стихотворения 1908–1937. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://mandelshamjoseph.ru/> Приятного чтения!

Стихотворения 1908–1937. Осип Эмильевич Мандельштам

Только детские книги читать, Только детские думы лелеять, Все большое далеко
развезать, Из глубокой печали восстать.

Я от жизни смертельно устал, Ничего от нее не приемлю, Но люблю мою бедную
землю, Оттого, что иной не видал.

Я качался в далеком саду На простой деревянной качели, И высокие темные ели
Вспоминаю в туманном бреду.

1908

Звук осторожный и глухой Плода, сорвавшегося с дерева, Среди немолчного напева
Глубокой тишины лесной...

1908

Сусальным золотом горят В лесах рождественские елки, В кустах игрушечные волки
Глазами страшными глядят.

О, вещая моя печаль, О, тихая моя свобода И неживого небосвода Всегда смеющийся
хрусталь!

1908

Дано мне тело – что мне делать с ним, Таким единым и таким моим?

За радость тихую дышать и жить Кого, скажите, мне благодарить?

Я и садовник, я же и цветок, В темнице мира я не одинок.

На стекла вечности уже легло Мое дыхание, мое тепло.

4

Запечатлеется на нем узор, Неузнаваемый с недавних пор.

Пускай мгновения стекает муть Узора милого не зачеркнуть.

1909

Сквозь восковую занавесь, Что тихо так сквозит, Кустарник из тумана весь
Заплаканный глядит. Простор, канвой окутанный, Безжизненной кулис, И месяц весь
опутанный беспомощно повис. Темнее занавеситься; Все небо охватить: И пойманного
месяца Назад не отпустить.

1909

Мне стало страшно жизнь отжить И с дерева, как лист, отпрянуть, И ничего не
полюбить, И безмянным камнем кануть; И в пустоте, как на кресте, Живую душу
распиная, Как Моисей на пустоте, Исчезнуть в облаке Синая. И я слежу – со всем
живым Меня связующие нити, И бытия узорный дым На мраморной сличаю плите; И

Стихотворения 1908–1937. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
содрогая теплых птиц Улавливаю через сети, И с истлевающих страниц Притягиваю
прах столетий.

1909–1910 ?

Озарены луной кочевья Бесшумной мыши полевой. Прозрачными стоят деревья,
Овеянные темнотой, Когда рябина, развивая Листы, которые умрут, Завидует,
перебирая

5

Их выхолненный изумруд, Печальной участи скитальцев И нежной участи детей; И
тысячи зеленых пальцев Колеблет множество ветвей. На влажный камень возведенный,
Амур, печальный и нагой, Своей младенческой ногой Переступает, удивленный

Тому, что в мире старость есть, Зеленый мох и влажный камень, И сердца
незаконный пламень Его ребяческая месть.

И начинает ветер грубый В наивные долины дуть; Нельзя достаточно сомкнуть Свои
страдальческие губы.

1909–1910 ?

Дыханье вещее в стихах моих Животворящего их духа, Ты прикасаешься сердец каких
Какого достигаешь слуха?

Или пустыннее напева ты Тех раковин, в песке поющих, Что круг очерченной им
красоты Не разомкнули для живущих?

1909–1910 ?

В изголовье черное распятие, В сердце жир и в мыслях пустота И ложится тонкое
проклятье Пыльный след – на дерево креста.

Ах, зачем на стеклах сон морозный Так похож на мозаичный сон! Ах, зачем молчанья
голос грозный Безнадежной негой растворен!

И слова евангельской латыни Прозвучали, как морской прибой; И волной нахлынувшей
святыни Поднят был корабль безумный мой.

6

Нет, не парус, распятый и серый, С неизбежностью меня влечет Страшен мне
"подводный камень веры", Роковой ее круговорот!

ноябрь 1910

.....На пальмовой верхушке Отмечает листья
ветер тонкий. Неразрывно связанный с другими, Каждый лист колеблется отдельно.
Но в порывах ткани беспредельно И мирами вызвано иными Только то, что создано
землю. Длинные трепещущие нити, В тщетном ожидании наитий Шелестящие своей
длиною.

1910

Ни о чем не нужно говорить, Ничему не следует учить, И печальна так и хороша
Темная звериная душа: Ничему не хочет научить, Не умеет вовсе говорить И плывет
дельфином молодым По седым пучинам мировым.

1909

SILENTIUM

Она еще не родилась, Она – и музыка, и слово, И потому всего живого Ненарушаемая связь. Спокойно дышат моря груди, Но, как безумный, светел день И пены бледная сирень В черно-лазорево́м сосуде. Да обретут мои уста Первоначальную немоту, Как кристаллическую ноту, Что от рождения чиста! Останься пеной, Афродита, И, слово, в музыку вернись, И, сердце, сердца устыдись, С первоосновой жизни слито!

7

Когда удар с ударами встречается, И надо мною роковой, Неутомимый маятник качается И хочет быть моей судьбой,

Торопится и грубо остановится, И упадет веретено, И невозможно встретиться, условиться, И уклониться не дано.

Узоры острые переплетаются, И, все быстрее и быстрее Отравленные дротики взвиваются В руках отважных дикарей...

И вереница стройная уносится С веселым трепетом, и вдруг Одумалась и прямо в сердце просится Стрела, описывая, круг.

1910

Слух чуткий парус напрягает, Расширенный пустеет взор, И тишину переплывает Полночных птиц незвучный хор.

я также беден, как природа, И также прост, как небеса, И призрачна моя свобода, Как птиц полночных голоса.

я вижу месяц бездыханный И небо, мертвенней холста, Твой мир, болезненный и странный, Я принимаю, пустота!

1910

Анне Ахматовой

Как черный ангел на снегу, Ты показалась мне сегодня, И утаить я не могу, Есть на тебе печать господня.

Такая странная печать как бы дарованная свыше

Что, кажется, в церковной нише Тебе назначено стоять.

Пускай нездешняя любовь С любовью здешней будут слиты, Пускай бушующая кровь Не перейдет в твои ланиты.

8

И пышный мрамор оттенит Всю призрачность твоих лохмотий, Всю наготу нежнейшей плоти, Но не краснеющих ланит.

1910

Ты прошла сквозь облако тумана. На ланитах нежные румяна. Светит день холодный и

Стихотворения 1908–1937. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
недужный. Я брожу свободный и ненужный... Злая осень ворожит над нами, Угрожает
спелыми плодами, Говорит вершинами с вершиной И в глаза целует паутиной. Как
застыл тревожной жизни танец! Как на всем играет твой румянец! Как сквозит и в
облаке багряна Ярких дней зияющая рана.

Змей

Осенний сумрак – ржавое железо скрипит, поет и разъедает плоть... Что весь
соблазн и все богатства креза Пред лезвием твоей тоски, господь! Я как змеей
танцующей измучен И перед ней, тоскуя, трепещу, Я не хочу души своей излучин, И
разума, и музы не хочу. Достаточно лукавых отрицаний Распутывать извилистый
клубок; Нет стройных слов для жалоб и признаний, И кубок мой тяжел и неглубок. К
чему дышать? На жестких камнях пляшет Большой удав, свиваясь и клубясь,
Качается, и тело опояшет, И падает, внезапно утомясь. И бесполезно, накануне
казни, Видением и пеньем потрясен, Я слушаю, как узник, без боязни Железа визг и
ветра темный стон!

1910

9

Анне Ахматовой

Вы хотите быть игрушечной, Но испорчен ваш завод, К вам никто на выстрел
пушечный Без стихов не подойдет.

1911

Дождик ласковый, тихий и тонкий, Осторожный, колючий, слепой, Капли строгие
скупы и звонки И отточен их звук тишиной.

То – так счастливы счастьем скромным, Что упасть на стекло удалось; То, как
будто, подхвачена темным Ветром, струя уносится вкось.

Тайный ропот, мольба о прощеньи; Я люблю непонятный язык! И сольются в одном
ощущеньи Вся жестокость, вся кротость, на миг.

В цепких лапах у царственной скуки Сердце сжалось, как маленький мяч: Полон
музыки, музы и муки Жизни тающей сладостный плач!

22 августа 1911

Смутно дышащими листьями Черный ветер шелестит, И трепещущая ласточка В темном
небе круг чертит.

Тихо спорят в сердце ласковом Умирающем моем Наступающие сумерки С догорающим
лучом.

И над лесом вечерющим Стала медная луна. Отчего так мало музыки И такая тишина?

1911

10

Раковина

Быть может, я тебе не нужен, Ночь; из пучины мировой, Как раковина без жемчужин,
Я выброшен на берег твой. Ты равнодушно волны пенишь И несговорчиво поешь, Но ты

Стихотворения 1908–1937. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
полюбишь, ты оценишь ненужной раковины ложь. Ты на песок с ней рядом ляжешь,
Оденешь ризю своей, Ты неразрывно с нею свяжешь Огромный колокол зыбей, И
хрупкой раковины стены, Как нежлого сердца дом, Наполнишь шепотами пены,
Туманом, ветром и дождем...

1911

Воздух пасмурный влажен и гулок. Хорошо и нестрашно в лесу. Легкий крест
одиноких прогулок Я покорно опять понесу. И опять к равнодушной отчизне дикой
уткой взовьется упрек, Я участвую в сумрачной жизни, Где один к одному одинок!
Выстрел грянул. Над озером сонным Крылья уток теперь тяжелы, И двойным бытием
отраженным Одурманены сосен стволы. Небо тусклое с отсветом странным Мирозданья
туманная боль О, позволь мне быть также туманным И тебя не любить мне позволь.

1911

11

О небо, небо, ты мне будешь сниться! Не может быть, чтоб ты совсем ослепло, и
день сгорел, как белая страница: Немного дыма и немного пепла!

1911

Как кони медленно ступают, Как мало в фонарях огня! Чужие люди, верно, знают,
Куда везут они меня.

А я вверяюсь их заботе. Мне холодно, я спать хочу. Подбросило на повороте
Навстречу звездному лучу.

Горячей головы качанье И нежный лед руки чужой, И темных елей очертанья, Еще
невиданные мной.

1911

Я ненавижу свет Однообразных звезд. Здравствуй, мой древний бред, Башни
стрельчатой рост!

Кружевом, камень, будь, И паутиной стань, Неба пустую грудь Тонкой иглою рань!

Будет и мой черед, Чую размах крыла. Так, но куда уйдет Мысли живой стрела?

Или, свой путь и срок, Я, исчерпав, вернусь: Там - я любить не мог, Здесь - я
любить боюсь...

1912

12

Золотой

Целый день сырой осенний воздух Я вдыхал в смятении и тоске. Я хочу поужинать, и
звезды Золотые в темном кошельке! И, дрожа от желтого тумана, Я спустился в
маленький подвал. Я нигде такого ресторана И такого сброда не видал! Мелкие
чиновники, японцы, Теоретики чужой казны... За прилавком щупает червонцы
Человек, - и все они пьяны. "будьте так любезны, разменяйте, Убедительно его
прошу, Только мне бумажек не давайте Трехрублевков я не выношу!" Что мне делать с
пьяною оравой? Как попал сюда я, боже мой? Если я на то имею право, Разменяйте
мне мой золотой!

1912

Образ твой, мучительный и зыбкий, Я не мог в тумане осязать. "господи!" - Сказал я по ошибке, Сам того не думая сказать. Божье имя, как большая птица, Вылетело из моей груди. Впереди густой туман клубится, И пустая клетка позади.

1912

Нет, не луна, а светлый циферблат Сияет мне, и чем я виноват, Что слабых звезд я осязаю млечность? И Батюшкова мне противна спесь: "который час?" - Его спросили здесь, А он ответил любопытным: "вечность".

13

Петербургские строфы

Н. Гумилеву

Над желтизной правительственных зданий Кружилась долго мутная метель, И правовед опять садится в сани, Широким жестом запахнув шинель.

Зимуют пароходы. На припеке Зажглось какуты толстое стекло. Чудовищна, - как броненосец в доке, Россия отдыхает тяжело.

А над Невой - посольства полумира, Адмиралтейство, солнце, тишина! И государства жесткая порфира, Как власяница грубая, бедна.

Тяжка обуза северного сноба Онегина старинная тоска; На площади сената - вал сугроба, Дымок костра и холодок штыка...

Черпали воду ялики, и чайки Морские посещали склад пеньки, Где, продавая сбитень или сайки, Лишь оперные бродят мужики.

Летит в туман моторов вереница. Самолюбивый, скромный пешеход, Чудак Евгений бедности стыдится Бензин вдыхает и судьбу клянет!

1913

В таверне воровская шайка Всю ночь играла в домино. Пришла с яичницей хозяйка; Монахи выпили вино.

На башне спорили химеры: Которая из них урод? А утром проповедник серый В палатки призывал народ.

На рынке возятся собаки, Менялы щелкает замок. У вечности ворует всякий, А вечность - как морской песок.

14

Он осыпается с телеги, Не хватит на мешки рогож. И, недовольный, о ночлеге Монах рассказывает ложь.

1913

Отравлен хлеб, и воздух выпит: Как трудно раны врачевать! Иосиф, проданный в Египет, Не мог сильнее тосковать. Под звездным небом бедуины, Закрыв глаза и на коне, Слагают вольные былины О смутно пережитом дне. Немного нужно для наитий:

Стихотворения 1908–1937. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
Кто потерял в песке колчан, Кто выменял коня, – событий Рассеивается туман. И,
если подлинно поется И полной грудью, наконец, Все исчезает – остается
Пространство, звезды и певец!

1913

Кинематограф

Кинематограф. Три скамейки. Сантиментальная горячка. Аристократка и богачка В
сетях соперницы-злодейки. Не удержать любви полета: Она ни в чем не виновата!
Самоотверженно, как брата, Любила лейтенанта флота. А он скитается в пустыне,
Седого графа сын побочный. Так начинается лубочный Роман красавицы-графини. И в
исступленье, как гитана, Она заламывает руки. Разлука. Бешеные звуки
Затравленного фортепьяно. В груди доверчивой и слабой Еще достаточно отваги
Похитить важные бумаги Для неприятельского штаба. И по каштановой аллее

15

Чудовищный мотор несется. Стрекочет лента, сердце бьется Тревожнее и веселее.

В дорожном платье, с саквояжем, В автомобиле и в вагоне, Она боится лишь погони,
Сухим измучена миражем.

Какая горькая нелепость: Цель не оправдывает средства! Ему – отцовское
наследство, А ей – пожизненная крепость!

1913

Домби и сын.

Когда, пронзительнее свиста, Я слышу английский язык, Я вижу Оливера Твиста Над
кипами конторских книг.

У Чарльза Диккенса спросите, Что было в лондоне тогда: Контора Домби в старом
Сити И Темзы желтая вода.

Дожди и слезы. Белокурый И нежный мальчик Домби-сын. Веселых клерков каламбуры Не
понимает он один.

В конторе сломанные стулья, На шиллинги и пенсы счет; Как пчелы, вылетев из
улья, Роятся цифры круглый год.

А грязных адвокатов жало Работает в табачной мгле, И вот, как старая мочала,
Банкрот болтается в петле.

На стороне врагов законы: Ему ничем нельзя помочь! И клетчатые панталоны, Рыдая,
обнимает дочь.

1914

16

Я не слышал рассказов Оссиана, Не пробовал старинного вина, Зачем же мне
мерещится поляна, Шотландии кровавая луна? И перекличка ворона и арфы Мне
чудится в зловещей тишине, И ветром развеваемые шарфы Дружинников мелькают при
луне! Я получил блаженное наследство Чужих певцов блуждающие сны; Свое родство и
скудное соседство Мы презирать заведомо вольны. И не одно сокровище, быть может,
Минуя внуков, к правнукам уйдет, И снова скальд чужую песню сложит И как свою ее
произнесет.

1914

Есть ценностей незыблемая скала Над скучными ошибками веков. Неправильно
наложена опала На автора возвышенных стихов. И вслед за тем, как жалкий
Сумароков Пролетел заученную роль, Как царский посох в скинии пророков, У нас
цвела торжественная боль. Что делать нам в театре полуслова И полумаск, герои и
цари? И для меня явление Озерова Последний луч трагической зари.

1914

Поляки! Я не вижу смысла в безумном подвиге стрелков! Иль ворон заклюет орлов?
Иль потечет обратно висла? Или снега не будут больше Зимой покрывать ковыль? Или
о Габсбургов костыль Пристало ушибаться польше? И ты, славянская комета, В своем
блуждании вековом, Рассыпалась чужим огнем, Сообщница чужого света!

1914

17

Анне Ахматовой

Черты лица искажены Какой-то старческой улыбкой. Ужели и гитане гибкой Все муки
Данта суждены?

1915

Бессонница. Гомер. Тугие паруса. Я список кораблей прочел до середины: Сей
длинный выводок, сей поезд журавлиный, Что над Элладю когда-то поднялся.

Как журавлиный клин в чужие рубежи, На головах царей божественная пена, Куда
плывете вы? Когда бы не Елена, Что Троя вам одна, ахейские мужи?

И море, и Гомер – все движется любовью. Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,
И море Черное, витийствуя, шумит И с тяжким грохотом подходит к изголовью.

1915

Уничтожает пламень Сухую жизнь мою, И ныне я не камень, Я дерево пою.

Оно легко и грубо, Из одного куска И сердцевина дуба, И весла рыбака.

Вбивайте крепче сваи, Стучите, молотки, О деревянном рае, Где вещи так легки.

1915

18

От вторника и до субботы Одна пустыня пролегла. О, длительные перелеты! Семь
тысяч верст – одна стрела. И ласточки, когда летели В Египет водяным путем,
Четыре дня они висели, Не зачерпнув воды крылом.

1915

В Петрополе прозрачном мы умрем, Где властвует над нами Прозерпина. Мы в каждом
вздохе смертный воздух пьем, И каждый час нам смертная година. Богиня моря,
грозная Афина, Сними могучий каменный шепот. В Петрополе прозрачном мы

Стихотворения 1908–1937. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
умрем,Здесь царствуешь не ты, а Прозерпина.

1916

Эта ночь непоправима, А у вас еще светло. У ворот Ерусалима Солнце черное
взошло. Солнце черное страшнее Баю баюшки баю В светлом храме иудеи Хоронили
мать мою. Благодати не имея И священства лишены, В светлом храме иудеи Отпевали
прах жены. И над матерью звенели Голоса израильтян. Я проснулся в колыбели,
Черным солнцем осиян.

19

Природа – тот же Рим отразилась в нем. Мы видим образы его гражданской мощи В
прозрачном воздухе, как в цирке голубом, На форуме полей и в колоннаде роши.

Природа – тот же Рим, и, кажется, опять Нам незачем богов напрасно беспокоить,
Есть внутренности жертв, чтоб о войне гадать, Рабы, чтобы молчать, и камни,
чтобы строить!

1917

Декабрист

"Тому свидетельство языческий сенат, Сии дела не умирают!" Он раскурил чубук и
запахнул халат, А рядом в шахматы играют.

Честолюбивый сон он променял на сруб В глухом урочище сибиря, И вычурный чубук у
ядовитых губ, Сказавших правду в скорбном мире.

Шумели в первый раз германские дубы, Европа плакала в тенетах, Квадриги черные
вставали на дыбы На триумфальных поворотах.

Бывало, голубой в стаканах пунш горит. С широким шумом самовара Подруга рейнская
тихонько говорит, Вольнолюбивая гитара.

"Еще волнуются живые голоса О сладкой вольности гражданства!" Но жертвы не хотят
слепые небеса: Вернее труд и постоянство.

Все перепуталось, и некому сказать, Что, постепенно холодея, Все перепуталось, и
сладко повторять: Россия, лета, Лорелея.

1917

20

Все чуждо нам в столице непотребной: Ее сухая черствая земля И буйный торг на
Сухаревке хлебной И страшный вид разбойного кремля. Она, дремучая, всем миром
правит. Миллионами скрипучих арб она Качнулась в путь – и полвселенной давит Ее
базаров бабья ширина. Ее церковей благоуханны соты Как дикий мед, заброшенный в
леса, И птичьих стай пустые перелеты Угрюмые волнуют небеса. Она в торговле
хитрая лисица, Она пред князем – жалкая раба. Удельной речки мутная водица
Течет, как встарь, в сухие желоба. 1916 (1917)

Когда октябрьский нам готовил временщик Ярмо насилия и злобы, И ошетинился
убийца–броневик, И пулеметчик узколобий, Керенского распять потребовал солдат, И
злая чернь рукоплескала: Нам сердце на штыки позволил взять Пилат, Чтоб сердце
биться перестало! И укориженно мелькает эта тень, Где зданий красная подкова;
Как будто слышу я в октябрьский тусклый день: "Вязать его, щенка Петрова!" Среди

Стихотворения 1908–1937. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
гражданских бурь и яростных личин, Тончайшим гневом пламенея, Ты шел
бестрепетно, свободный гражданин, Куда вела тебя Психея. И если для других
восторженный народ Венки свивает золотые Благословить тебя в глубокий ад сойдет
Стопою легкою Россия.

21

Кассандре

Я не искал в цветущие мгновенья Твоих, Кассандра, губ, твоих, Кассандра, глаз,
Но в декабре – торжественное бденье Воспоминанье мучит нас!

И в декабре семнадцатого года Все потеряли мы, любя: Один ограблен волею народа,
Другой ограбил сам себя...

Когда-нибудь в столице шалой, На скифском празднике, на берегу Невы, При звуках
омерзительного бала Сорвут платок с прекрасной головы...

Но, если эта жизнь – необходимость бреда, И корабельный лес – высокие дома Лети,
безрукая победа Гиперборейская чума!

На площади с броневиками Я вижу человека: он Волков горящими пугает головнями:
Свобода, равенство, закон!

Декабрь 1917

А.В.Карташеву

Среди священников левитом молодым На страже утренней он долго оставался. Ночь
иудейская сгушалась над ним И храм разрушенный угрюмо созидался.

Он говорил: небес тревожна желтизна. Уж над Ефратом ночь, бегите, иереи! А
старцы думали: не наша в том вина; Се черножелтый свет, се радость иудеи.

Он с нами был, когда по берегу ручья Мы в драгоценный лен субботу пеленали И
семисвечником тяжелым освещали Ерусалима ночь и чад небытия.

1917

22

Пусть имена цветущих городов Ласкают слух значительностью бренной. Не город Рим
живет среди веков, А место человека во вселенной. Им овладеть пытаются цари,
Священники оправдывают войны, И без него презрения достойны, Как жалкий сор,
дома и алтари.

1917

TRISTIA

Я изучил науку расставанья В простоволосых жалобах ночных. Жуют волю, и длится
ожиданье, Последний час вигилий городских; И что обряд той петушиной ночи,
Когда, подняв дорожной скорби груз, Глядели вдаль заплаканные очи И женский плач
мешался с пеньем муз. Кто может знать при слове расставанье Какая нам разлука
предстоит? Что нам сулит петушьё восклицанье, Когда огонь в акрополе горит? И на
зарю какой-то новой жизни, Когда в сенях лениво вол жуёт, Зачем петух, глашатай
новой жизни, На городской стене крылами бьет? И я люблю обыкновенье пряжи: Снует
челнок, веретено жужжит. Смотри: навстречу, словно пух лебяжий, Уже босая делия
летит! О, нашей жизни скудная основа, Куда как беден радости язык! Все было
встарь, все повторится снова, И сладок нам лишь узнаванья миг. Да будет так:

Стихотворения 1908–1937. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
прозрачная фигурка На чистом блюде глиняном лежит, Как беличья распластанная
шкурка, Склонясь над воском, девушка глядит. Не нам гадать о греческом Эребе,
Для женщин воск, что для мужчины медь. Нам только в битвах выпадает жребий, А им
дано гадая умереть.

23

Прославим, братья, сумерки свободы, Великий сумеречный год! В кипящие ночные
воды Опущен грузный лес тенет. Восходишь ты в глухие годы, О, солнце, судия,
народ!

Прославим роковое бремя, Которое в слезах народный вождь берет. Прославим власти
сумрачное бремя, Ее невыносимый гнет. В ком сердце есть, тот должен слышать,
время, Как твой корабль ко дну идет.

Мы в легионы боевые Связали ласточек, – и вот Не видно солнца, вся стихия
Щебечет, движется, живет. Сквозь сети – сумерки густые Не видно солнца и земля
плывет.

Ну, что ж, попробуем: огромный, неуклюжий, Скрипучий поворот руля. Земля плывет.
Мужайтесь, мужи, Как плугом, океан деля. Мы будем помнить и в летейской стуже,
Что десяти небес нам стоила земля.

1918

На страшной высоте блуждающий огонь, Но разве так звезда мерцает? Прозрачная
звезда, блуждающий огонь, Твой брат, Петрополь, умирает.

На страшной высоте земные сны горят, Зеленая звезда летает. О, если ты звезда, –
воды и неба брат, Твой брат, Петрополь, умирает.

Чудовищный корабль на страшной высоте Несется, крылья расправляет. Зеленая
звезда, в прекрасной нищете Твой брат, Петрополь, умирает.

Прозрачная весна над черною Невою Сломалась, воск бессмертья тает. О, если ты
звезда, – Петрополь, город твой, Твой брат, Петрополь, умирает.

1918

24

Кто знает, может быть не хватит мне свечи, И среди бела дня останусь я в ночи,
И, зернами дыша рассыпанного мака, На голову мою надену митру мрака: Как поздний
патриарх в разрушенной москве, Неосвященный мир неся на голове, Чреватый
слепотой и муками раздора, Как Тихон, – ставленник последнего собора.

1918

Что поют часы–кузнечик, Лихорадка шелестит, И шуршит сухая печка, Это красный
шелк горит. Что зубами мыши точат Жизни тоненькое дно, Это ласточка и дочка
Отвязала мой челнок. Что на крыше дождь бормочет, Это черный шелк горит. Но
черемуха услышит И на дне морском простит. Потому, что смерть невинна, И ничем
нельзя помочь, Что в горячке соловьиной Сердце теплое еще.

1918

Я наравне с другими Хочу тебе служить, От ревности сухими Губами воровать. Не
утоляет слово Мне пересохших уст, И без тебя мне снова Дремучий воздух пуст. Я

Стихотворения 1908–1937. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
больше не ревную, Но я тебя хочу, И сам себя несу я, Как жертву палачу. Тебя не
назову я ни радость, ни любовь. На дикую, чужую Мне подменили кровь. Еще одно
мгновенье, И я скажу тебе: Не радость, а мученье Я нахожу в тебе.

25

И, словно преступленье, Меня к тебе влечет Искусанный в смятеньи Вишневый нежный
рот...

Вернись ко мне скорее, Мне страшно без тебя, Я никогда сильнее Не чувствовал
тебя, И все, чего хочу я, Я вижу наяву. Я больше не ревную, Но я тебя зову.

1920

Венецйской жизни, мрачной и бесплодной, Для меня значение светло, Вот она
глядит с улыбкою холодной В голубое дряхлое стекло.

Тонкий воздух кожи. Синие прожилки. Белый снег. Зеленая парча. Всех кладут на
кипарисные носилки, Сонных, теплых вынимают из плаща.

И горят, горят в корзинах свечи, Словно голубь залетел в ковчег. На театре и на
праздном вече Умирает человек.

Ибо нет спасенья от любви и страха: Тяжелее платины сатурново кольцо! Черным
бархатом завешенная плаха И прекрасное лицо.

Тяжелы твои, Венеция, уборы, В кипарисных рамах зеркала. Воздух твой граненый. В
спальне тают горы Голубого дряхлого стекла...

Только в пальцах роза или склянка, Адриатика зеленая, прости! Что же ты молчишь,
скажи, венецианка? Как от смерти этой праздничной уйти?

Черный вечер в зеркале мерцает. Все проходит. Истина темна. Человек рождается.
Жемчуг умирает. И Сусанна старцев ждать должна.

1920

26

Возьми на радость из моих ладоней Немного солнца и немного меда, Как нам велели
пчелы Персефоны. Не отвязать неприкрепленной лодки, Не услышать в меха обутой
тени, Не превозмочь в дремучей жизни страха. Нам остаются только поцелуи,
Мохнатые, как маленькие пчелы, Что умирают, вылетев из улья. Они шуршат в
прозрачных дебрях ночи, Их родина – дремучий лес Тайгета, Их пища – время,
медуница, мята. Возьми ж на радость дикий мой подарок, Невзрачное сухое ожерелье
Из мертвых пчел, мед превративших в солнце.

1920

Вернись в смесительное лоно, Откуда, Лия, ты пришла, За то, что солнцу Илиона Ты
желтый сумрак предпочла. Иди, никто тебя не тронет, На грудь отца в глухую ночь
Пускай главу свою уронит Кровосмесительница-дочь. Но роковая перемена В тебе
исполниться должна: Ты будешь Лия – не Елена Не потому наречена, Что царской
крови тяжелее Струиться в жилах, чем другой, Нет, ты полюбишь иудея, Исчезнешь в
нем – и бог с тобой.

1920

27

Стихотворения 1908–1937. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
Где ночь бросает якоря В глухих созвездьях зодиака,

Сухие листья октября, Глухие вскормленники мрака,

Куда летите вы? Зачем От древа жизни вы отпали? Вам чужд и странен Вифлеем И
яслей вы не увидали.

Для вас потомства нет – увы! Бесполоя владеет вами злоба, Бездетными сойдете вы
В свои повапленные гробы,

И на пороге тишины, Среди беспамятства природы, Не вам, не вам обречены, А
звездам вечные народы.

1920

В Петербурге мы сойдемся снова, Словно солнце мы похоронили в нем, И
блаженное, бессмысленное слово В первый раз произнесем. В черном бархате
советской ночи, В бархате всемирной пустоты, Все поют блаженных жен родные очи,
Все цветут бессмертные цветы.

Дикой кошкой горбится столица, На мосту патруль стоит, Только злой мотор во мгле
промчится И кукушкой прокричит. Мне не надо пропуска ночного, Часовых я не
боюсь: За блаженное, бессмысленное слово Я в ночи советской помолюсь.

Слышу легкий театральный шорох И девическое "ах" И бессмертных роз огромный ворох
У Киприды на руках. У костра мы греемся от скуки, Может быть, века пройдут, И
блаженных жен родные руки Легкий пепел соберут.

28

Где-то грядки красные партера, Пышно взбиты шифоньерки лож, Заводная кукла
офицера Не для черных дум и низменных святош В черном бархате всемирной пустоты,
Все поют блаженных жен крутые плечи, И ночного солнца не заметишь ты.

25 ноября 1920

Сестры – тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы. Медуницы и осы тяжелую розу
сосут. Человек умирает. Песок остывает согретый, И вчерашнее солнце на черных
носилках несут. Ах, тяжелые соты и нежные сети! Легче камень поднять, чем имя
твое повторить. У меня остается одна забота на свете: Золотая забота, как
времени бремя избыть. Словно темную воду, я пью помутившийся воздух. Время
вспахано плугом, и роза землею была. В медленном водовороте тяжелые, нежные розы,
Розы тяжесть и нежность в двойные венки заплела.

1920

Чуть мерцает призрачная сцена, Хоры слабые теней, Захлестнула шелком Мельпомена
Окна храмины своей. Черным табором стоят кареты, На дворе мороз трещит, Все
космато – люди и предметы, И горячий снег хрустит. Понемногу челядь разбирает
Шуб медвежьих вороха. В суматохе бабочка летает, Розу кутают в меха. Модной
пестряди кружки и мошки, Театральный легкий жар, А на улице мигают плошки И
тяжелый валит пар. Кучера измаялись от крика, И храпит и дышит тьма. Ничего,
голубка, Эвридика, Что у нас студеная зима. Слаще пенья итальянской речи Для
меня родной язык, Ибо в нем таинственно лепечет Чужеземных арф родник. Пахнет
дымом бедная овчина. От сугроба улица черна.

29

Из блаженного, певучего притина К нам летит бессмертная весна, Чтобы вечно ария
звучала: "Ты вернешься на зеленые луга", И живая ласточка упала На горячие
снега.

Стихотворения 1908–1937. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
1920

Мне жалко, что теперь зима И комаров не слышно в доме. Но ты напомнила сама О
легкомысленной соломе.

Стрекозы вьются в синева, И ласточкой кружится мода, Корзиночка на голове Или
напыщенная ода?

Советовать я не берусь, И бесполезны отговорки, Но взбитых сливок вечен вкус И
запах апельсиновой корки.

Ты все толкуешь наобум От этого ничуть не хуже, Что делать: самый нежный ум Весь
помещается снаружи.

И ты пытаешься желток Взбивать рассерженною ложкой. Он побелел, он изнемог, И
все-таки еще немножко.

И, право, не твоя вина, Зачем оценки и изнанки? Ты как нарочно создана Для
комедийной перебранки.

В тебе все дразнит, все поет, Как итальянская рулада. И маленький вишневый рот
Сухого просит винограда.

Так не старайся быть умней, В тебе все прихоть, все минута. И тень от шапочки
твоей Венецианская баута.

1920

30

Мне Тифлис горбатый снится, Сазандарей стон звенит, На мосту народ толпится, Вся
ковровая столица, А внизу Кура шумит. Над Курюю есть духаны, Где вино и милый
плов, И духанщик там румяный Подает гостям стаканы И служить тебе готов.
Кахетинское густое Хорошо в подвале пить, Там в прохладе, там в покое Пейте
вдоволь, пейте двое, Одному не надо пить! В самом маленьком духане Ты обманщика
найдешь. Если спросишь "Телиани", Поплывет Тифлис в тумане, Ты в бутылке
поплывешь. Человек бывает старым, А барашек молодым, И под месяцем поджарым С
розоватым винным паром Полетит шашлычный дым...

1920, 1927

За то, что я руки твои не сумел удержать, За то, что я предал соленые нежные
губы, Я должен рассвета в дремучем Акрополе ждать. Как я ненавижу пахучие,
древние срубы. Ахейские мужи во тьме снаряжают коня, Зубчатыми пилами в стены
вгрызаются крепко, Никак не уляжется крови сухая возня, И нет для тебя ни
названья, ни звука, ни слепка. Как мог я подумать, что ты возвратишься, как
смел? Зачем преждевременно я от тебя оторвался? Еще не рассеялся мрак и петух не
пропел, Еще в древесину горячий топор не врезался. Прозрачной слезой на стенах
проступила смола, И чувствует город свои деревянные ребра, Но хлынула к
лестницам кровь и на приступ пошла, И трижды приснился мужам соблазнительный
образ. Где милая троя? Где царский, где девичий дом? Он будет разрушен, высокий
Приамов скворешник. И падают стрелы сухим деревянным дождем, И стрелы другие
растут на земле, как орешник.

31

Последней звезды безболезненно гаснет укол, И серую ласточкой утро в окно
постучится, И медленный день, как в соломе проснувшийся вол, На стогах,
шершавых от долгого сна, шевелится.

1920

Я слово позабыл, что я хотел сказать. Слепая ласточка в чертог теней вернется,
На крыльях срезанных, с прозрачными играть. В беспомысленности ночная песнь поется.

Не слышно птиц. Бессмертник не цветет. Прозрачны гривы табуна ночного. В сухой
реке пустой челнок плывет. Среди кузнечиков беспомысленствует слово.

И медленно растет, как бы шатер или храм, То вдруг прикинется безумной
Антигоной, То мертвой ласточкой бросается к ногам, С стигийской нежностью и
веткою зеленой.

О, если бы вернуть и зрячих пальцев стыд, И выпуклую радость узнавания. Я так
боюсь рыдания аонид, Тумана, звона и зиянья!

А смертным власть дана любить и узнавать, Для них и звук в персты прольется, Но
я забыл, что я хочу сказать, И мысль бесплотная в чертог теней вернется.

Все не о том прозрачная твердит, Все ласточка, подружка, Антигона... И на губах,
как черный лед, горит стигийского воспоминанье звона.

1920

Когда городская выходит на стогны луна, И медленно ей озаряется город дремучий,
И ночь нарастает, унынья и меди полна, И грубому времени воск уступает певучий,

И плачет кукушка на каменной башне своей, И бледная жница, сходящая в мир
бездыханный, Тихонько шевелит огромные спины теней, И желтой соломой бросает на
пол деревянный...

1920

32

Концерт на вокзале

Нельзя дышать, и твердь кишит червями, И ни одна звезда не говорит, Но, видит
бог, есть музыка над нами, Дрожит вокзал от пенья аонид, И снова, паровозными
свистками Разорванный, скрипичный воздух слит. Огромный парк. Вокзала шар
стеклянный. Железный мир опять заморожен. На звучный пир в элизиум туманный
Торжественно уносится вагон. Павлиний крик и рокот фортепьянный. Я опоздал. Мне
страшно. Это сон. И я вхожу в стеклянный лес вокзала, Скрипичный строй в
смятении и слезах. Ночного хора дикое начало И запах роз в гниющих парниках, Где
под стеклянным небом ночевала Родная тень в кочующих толпах. И мнится мне: весь
в музыке и пене Железный мир так нищенски дрожит. В стеклянные я упираюсь сени.
Куда же ты? На тризне милой тени В последний раз нам музыка звучит.

1921

Умывался ночью на дворе, Твердь сияла грубыми звездами. Звездный луч – как соль
на топоре, Стынет бочка с полными краями. На замок закрыты ворота, И земля по
совести сурова, Чище правды свежего холста Вряд ли где отыщется основа. Тает в
бочке, словно соль, звезда, И вода студеной чернее, Чище смерть, соленее беда, И
земля правдивей и страшнее.

1921

33

Я не знаю, с каких пор Эта песенка началась, Не по ней ли шуршит вор, Комариный

Стихотворения 1908–1937. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
звенит князь?

Я хотел бы ни о чем еще раз поговорить, Прошуршать спичкой, плечом Растолкать
ночь – разбудить.

Раскидать бы за стогом стог Шапку воздуха, что томит; Распороть, разорвать
мешок, В котором тмин зашит.

Чтобы розовой крови связь, Этих сухоньких трав звон,

Уворованная нашлась Через век, сеновал, сон.

1922

Я по лесенке приставной Лез на включенный сеновал, Я дышал звезд млечных
трухой, Колтуном пространства дышал.

И подумал: зачем будить Удлиненных звучаний рой, В этой вечной склоке ловить
Эолийский чудесный строй?

Звезд в ковше медведицы семь. Добрых чувств на земле пять. Набухает, звенит
тьма, И растет, и звенит опять.

Распряженный огромный воз Поперек вселенной торчит. Сеновала древний хаос
Защекочет, запорошит...

Не своей чешуей шуршим, Против шерсти мира поем, Лиру строим, словно спешим
Обрасти косматым руном.

Из гнезда упавших щеглов Косари приносят назад, Из горящих вырвусь рядов И
вернусь в родной звукоряд.

34

Чтобы розовой крови связь И травы сухорукий звон Распростились: одна – скрепясь,
А другая – в заумный сон.

1922

Ветер нам утешенье принес, И в лазури почуяли мы Ассирийские крылья стрекоз,
Переборы коленчатой тьмы. И военной грозой потемнел Нижний слой помраченных
небес, Шестируких летающих тел Слюдяной перепончатый лес. Есть в лазури слепой
уголок, И в блаженные полдни всегда, Как сгустившейся ночи намек, Роковая
трепещет звезда, И, с трудом пробиваясь вперед, В чешуе искалеченных крыл, Под
высокую руку берет Победенную твердь Азраил.

1922

Век мой, зверь мой, кто сумеет Заглянуть в твои зрачки И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки? Кровь–строительница хлещет Горлом из земных вещей,
Захребетник лишь трепещет На пороге новых дней. Тварь, куда жизнь хватает,
Донести хребет должна, И невидимым играет Позвоночником волна. Словно нежный
хрящ ребенка, Век младенческой земли. Снова в жертву, как ягненка, Темя жизни
принесли. Чтобы вырвать век из плена, Чтобы новый мир начать, Узловатых дней
колена Нужно флейтою связать. Это век волну колышет Человеческой тоской, И в
траве гадюка дышит Мерой века золотой. И еще набухнут почки, Брызнет зелени
побег,

35

Но разбит твой позвоночник, Мой прекрасный жалкий век! И с бессмысленной улыбкой
Вспять глядишь, жесток и слаб, Словно зверь, когда-то гибкий, На следы своих же

Стихотворения 1908–1937. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
лап. Кровь–строительница хлещет Горлом из земных вещей И горячей рыбой мечет В
берег теплый хрящ морей. И с высокой сетки птичьей, От лазурных влажных глыб
Льется, льется безразличие На смертельный твой ушиб.

1922

Феодосия

Окружена высокими холмами, Овечьим стадом ты с горы сбегаешь И розовыми, белыми
камнями В сухом прозрачном воздухе сверкаешь. Качаются разбойничьи фелюги, Горят
в порту турецких флагов маки, Тростинки мачт, хрусталь волны упругий И на
канатах лодочки – гамаки.

На все лады, оплаканное всеми, С утра до ночи "яблочко" поется. Уносит ветер
золотое семя, Оно пропало, больше не вернется. А в переулочках, чуть свечерело,
Пиликают, согнувшись, музыканты, По двое и по трое, неумело, Невероятные свои
варьянты.

О, горбоносых странников фигурки! О, средиземный радостный зверинец! Расхаживают
в полотенцах турки, Как петухи, у маленьких гостиниц. Везут собак в
тюрьмоподобной фуре, Сухая пыль по улицам несется, И хладнокровен средь базарных
фурий Монументальный повар с броненосца.

Идем туда, где разные науки И ремесло – шашлык и чебуреки, Где вывеска,
изображая брюки, Дает понятие нам о человеке. Мужской сюртук – без головы
стремленье, Цирюльника летающая скрипка И месмерический утюг – явление Небесных
прачек – тяжести улыбка.

36

Здесь девушки стареющие, в челках, Обдумывают странные наряды, И адмиралы в
твердых треуголках Припоминают сон Шехерезады. Прозрачна даль. Немного
винограда. И неизменно дует ветер свежий. Недалеко до смиренной Багдада, Но
трудно плыть, а звезды всюду те же.

1920, 1922

Московский дождик

...Он подает куда как скупой Свой воробьиный холодок Немного нам, немного купам,
Немного вишням на лоток. И в темноте растет кипенье Чайнок легкая возня, Как бы
воздушный муравейник Пирует в темных зеленях. И свежих капель виноградник За
шевелился в мураве, Как-будто холода рассадник Открылся в лапчатой москве!

1922

Кому зима – арак и пунш голубоглазый, Кому – душистое с корицею вино, Кому –
жестоким звезд солёные приказы В избушку дымную перенести дано. Немного теплого
куриного помета И бестолкового овечьего тепла; Я все отдам за жизнь – мне так
нужна забота И спичка серная меня б согреть могла. Взгляни: в моей руке лишь
глиняная крынка, И верещанье звезд щекошет слабый слух, Но желтизну травы и
теплоту суглинка Нельзя не полюбить сквозь этот жалкий пух. Тихонько гладить
шерсть и ворошить солому; Как яблоня зимой, в рогоже голодать, Тянуться с
нежностью бессмысленно к чужому И шарить в пустоте, и терпеливо ждать. Пусть
люди темные торопятся по снегу Отарою овец и хрупкий наст скрипит, Кому зима –
попынь и горький дым к ночлегу, Кому – крутая соль торжественных обид. О, если
бы поднять фонарь на длинной палке, С собакой впереди идти под солью звезд, И с
петухом в горшке прийти на двор к гадалке. А белый, белый снег до боли очи ест.

1922

37

Грифельная ода

Мы только с голоса пойдем,
Что там царапалось, боролось...

Звезда с звездой – могучий стык, Кремнистый путь из старой песни, Кремня и воздуха язык, Кремень с водой, с подковой перстень, На мягком сланце облаков Молочный грифельный рисунок Не ученичество миров, А бред овечьих полусонок.

Мы стоя спим в густой ночи Под теплой шапкою овечьей. Обратно, в крепь, родник журчит Цепочкой, пеночкой и речью. Здесь пишет страх, здесь пишет сдвиг Свинцовой палочкой молочной, Здесь созревает черновик Учеников воды проточной.

Крутые козьи города, Кремней могучее слоенье, И все-таки еще гряда Овечьи церкви и селенья! Им проповедует отвес, Вода их учит, точит время; И воздуха прозрачный лес Уже давно пресыщен всеми.

Как мертвый шершень возле сот, День пестрый выметен с позором. И ночь-коршунница несет Горящий мел и грифель кормит. С иконоборческой доски Стереть дневные впечатленья, И, как птенца, стряхнуть с руки Уже прозрачные виденья!

Плод нарывал. Зрел виноград. День бушевал, как день бушует. И в бабки нежная игра, И в полдень злых овчарок шубы. Как мусор с ледяных высот Изнанка образов зеленых Вода голодная течет, Крутятся, играя, как звереныш.

И как паук ползет ко мне, Где каждый стык луной обрызган, На изумленной крутизне Я слышу грифельные визги.

38

Ломаю ночь, горящий мел, Для твердой записи мгновенной, Меняю шум на пенье стрел, Меняю строй на стрепет гневный. Кто я? Не каменщик прямой, Не кровельщик, не коробейщик, Двuruшник я, с двойной душой, Я ночи друг, я дня застрельщик. Блажен, кто называл кремень Учеником воды проточной! Блажен, кто завязал ремень Подошве гор на твердой почве! И я теперь учу дневник Царапин грифельного лета, Кремня и воздуха язык, С прослойкой тьмы, с прослойкой света, И я хочу вложить персты В кремнистый путь из старой песни, Как в язву, заключая в стык Кремень с водой, с подковой перстень.

1923

Язык булыжника мне голубя понятней, Здесь камни – голуби, дома как голубятни, И светлым ручейком течет рассказ подков По звучным мостовым прабабки городов. Здесь толпы детские – событий попрошайки, Парижских воробьев испуганные стайки Клевали наскоро крупу свинцовых крох Фригийской бабушкой рассыпанный горох, И в памяти живет плетеная корзинка, И в воздухе плывет забытая коринка, И тесные дома – зубов молочных ряд На деснах старческих – как близнецы стоят. Здесь клички месяцам давали, как котят, А молоко и кровь давали нежным лъвьятам; А подрастут они – то разве года два Держалась на плечах большая голова! Большеголовые там руки поднимали И клятвой на песке как яблоком играли. Мне трудно говорить: не видел ничего, Но все-таки скажу, – я помню одного, Он лапу поднимал, как огненную розу, И, как ребенок, всем показывал занозу. Его не слушали: смеялись кучера, и грызла яблоки, с шарманкой, детвора; Афиши клеили, и ставили капканы, И пели песенки, и жарили каштаны, И светлой улицей, как просекой прямой, Летели лошади из зелени густой.

1923

39

Стихотворения 1908–1937. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
Нет, никогда, ничей я не был современник, Мне не с руки почет такой. О, как
противен мне какой-то соименник, То был не я, то был другой.

Два сонных яблока у века-властелина И глиняный прекрасный рот, Но к млеющей руке
старейшего сына Он, умирая, припадет.

Я с веком поднимал болезненные веки Два сонных яблока больших, И мне гремучие
рассказывали реки Ход воспаленных тяжб людских.

Сто лет тому назад подушками белела Складная легкая постель, И странно
вытянулось глиняное тело, Кончался века первый хмель.

Среди скрипучего похода мирового Какая легкая кровать! Ну что же, если нам не
выковать другого, Давайте с веком вековать.

И в жаркой комнате, в кибитке и в палатке Век умирает, а потом Два сонных яблока
на роговой облатке Сияют перистым огнем.

1924

Вы, с квадратными окошками, невысокие дома, Здравствуй, здравствуй,
петербургская несуровая зима!

И торчат, как шуки ребрами, незамерзшие катки, И еще в прихожих слепеньких
валяются коньки.

А давно ли по каналу плыл с красным обжигом гончар, Продавал с гранитной лесенки
добросовестный товар.

Ходят боты, ходят серые у гостиного двора, И сама собой сдирается с мандаринов
кожура.

И в мешочке кофий жареный, прямо с холоду домой, Электрической мельницей смолот
мокко золотой.

Шоколадные, кирпичные, невысокие дома, Здравствуй, здравствуй, петербургская
несуровая зима!

И приемные с роялями, где, по креслам рассадив, Доктора кого-то потчуют ворохами
старых "нив".

40

После бани, после оперы, – все равно, куда ни шло, Бестолковое, последнее
трамвайное тепло!

1924

1 января 1924

Кто время целовал в измученное темя, С сыновней нежностью потом Он будет
вспоминать, как спать ложилось время В сугроб пшеничный за окном. Кто веку
поднимал болезненные веки Два сонных яблока больших, Он слышит вечно шум, когда
взрели реки времен обманных и глухих. Два сонных яблока у века-властелина И
глиняный прекрасный рот, Но к млеющей руке старейшего сына Он, умирая, припадет.
Я знаю, с каждым днем слабеет жизни выдох. Еще немного – оборвут простую песенку
о глиняных обидах И губы оловом зальют. О глиняная жизнь! О умирая века!
Боюсь, лишь тот поймет тебя, В ком беспомощная улыбка человека, Который потерял
себя. Какая боль – искать потерянное слово, Больные веки поднимать И, с известью
в крови, для племени чужого Ночные травы собирать. Век. Известковый слой в крови
больного сына Твердеет. Спит Москва, как деревянный ларь, И некуда бежать от
века-властелина... Снег пахнет яблоком, как встарь. Мне хочется бежать от моего
порога. Куда? На улице темно, И, словно сыплют соль мощною дорогой, Белеет
совесть предо мной. По переулочкам, скворешням и застрехам, Недалеко, собравшись

Стихотворения 1908–1937. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru как-нибудь, Я, рядовой седок, укрывшись рыбьим мехом, Все силюсь полость застегнуть. Мелькает улица, другая, И яблоком хрустит саней морозный звук, Не поддается петелька тугая, Все время валится из рук. Каким железным, скобяным товаром Ночь зимняя гремит по улицам москвы, То мерзлой рыбою стучит, то хлещет паром Из чайных розовых, как серебром плотвы. Москва – опять Москва. Я говорю ей: "здравствуй! Не обессудь, теперь уж не беда, По старине я уважаю братство

41

Мороза крепкого и щучьего суда". Пылает на снегу аптечная малина, И где-то щелкнул ундервуд. Спина извозчика и снег на пол-аршина: Чего тебе еще? Не тронут, не убьют. Зима-красавица, и в звездах небо козье Рассыпалось и молоком горит, И конским волосом о мерзлые полозья Вся полость трется и звенит.

А переулочки коптели керосинкой, Глотали снег, малину, лед, Все шелушится им советской сонатинкой, Двадцатый вспоминая год. Ужели я предам позорному злословью Вновь пахнет яблоком мороз Присягу чудную четвертому сословью И клятвы крупные до слез?

Кого еще убьешь? Кого еще прославишь? Какую выдумаешь ложь? То ундервуда хряц: скорее вырви клавиш и щучью косточку найдешь; И известковый слой в крови больного сына Растает, и блаженный брызнет смех... Но пишущих машин простая сонатина Лишь тень сонат могучих тех.

1924

Что ты прячешься, фотограф, Что завесился платком? Вылезай, снимай скорее: Будешь прятаться потом. Только страусы в пустыне Прячут голову в крыло. Эй, фотограф! неприлично Спать, когда совсем светло!

1924

Сегодня ночью, не солгу, По пояс в тающем снегу Я шел с чужого полустанка, Гляжу – изба, вошел в сенцы Чай с солью пили чернецы, И с ними балует цыганка.

У изголовья, вновь и вновь, Цыганка вскидывает бровь, И разговор ее был жалок.

42

Она сидела до зари и говорила: "Подари Хоть шаль, хоть что, хоть полушалок". Того, что было, не вернешь, Дубовый стол, в солонке нож, И вместо хлеба еж брюхатый. Хотели петь – и не смогли, Хотели встать – дугой пошли Через окно на двор горбатый. И вот проходит полчаса, И гарнцы черного овса Жуют, похрустывая, кони. Скрипят ворота на заре, И запрягают на дворе. Теплеют медленно ладони. Холщовый сумрак поредел. С водою разведенный мел, Хоть даром, скука разливает, И сквозь прозрачное рядно Молочный день глядит в окно И золотушный грач мелькает.

1925

Я буду метаться по табору улицы темной За веткой черемухи в черной рессорной карете, За капором снега, за вечным, за мельничным шумом... Придымленных горечью, нет – с муравьиной кислинкой, От них на губах остается янтарная сухость. В такие минуты и воздух мне кажется карим, И кольца зрачков одеваются выпшкой светлой, И то, что я знаю о яблочной, розовой коже... Но все же скрипели извозчичьих санок полозья, В плетенку рогожи глядели колючие звезды, И били вразрядку копыта по клавишам мерзлым. И только и свету, что в звездной колючей неправде, А жизнь проплывет театрального капора пеной; И некому молвить: "Из табора улицы темной..."

1925

Жизнь упала, как зарница, Как в стакан воды – ресница. Изолгавшись на корню,
Никого я не виню. Хочешь яблока ночного, Сбитню свежего, крутого, Хочешь,
валенки сниму, Как пушинку подниму. Ангел в светлой паутине В золотой стоит
овчине, Свет фонарного луча До высокого плеча.

43

Разве кошка, вострепелувшись, Черным зайцем обернувшись, Вдруг простегивает путь,
Исчезая где-нибудь. Как дрожала губ малина, Как поила чаем сына, Говорила
наугад, Ни к чему и невпопад.

Как нечаянно запнулась, Изолгалась, улыбнулась Так, что вспыхнули черты
Неуклюжей красоты.

Есть за куколом дворцовым И за кипенем садовым Заресничная страна, Там ты будешь
мне жена.

Выбрав валенки сухие И тулупы золотые, Взавшись за руки, вдвоем, Той же улицей
пойдем,

Без оглядки, без помехи На сияющие вежи От зари и до зари Налитые фонари.

1925

Куда как тетушка моя была богата. Фарфора, серебра изрядная палата, Безделки
разные и мебель а к а ж у , Людовик, рококо – всего не расскажу.

Среди других вещей стоял в гостином зале Бетховен гипсовый на бронзовом рояле. У
тетушки он был в особенной чести. Однажды довелось мне в гости к ней придти,

И гордая собой упрямая старуха Перед Бетховеном проговорила глухо: – Вот,
душечка, Марат, работы Мирабо! – да что вы, тетенька, не может быть того!

Но старость черствая к поправкам глуховата: – Вот, – говорит, – портрет
известного Марата Работы, ежели припомню, Мирабо. Читатель, согласишься, не может
быть того!

1926

44

Куда как страшно нам с тобой, Товарищ большеротый мой! Ох, как крошится наш
табак, Щелкунчик, дружок, дурак! А мог бы жизнь просвистать скворцом, Заесть
ореховым пирогом... Да, видно, нельзя никак.

октябрь 1930

Армения.

Как бык шестикрылый и грозный,

Здесь людям является труд,

И кровью набухнув венозной,

Предзимние розы цветут.

1. Ты розу Гафиза колышешь Плечьми осьмигранными дышишь Мужичьих бычачьих
церквей. Окрашена охрою хриплой, Ты вся далеко за горой, А здесь лишь картинка
налипла Из чайного блюдца с водой.

Стихотворения 1908–1937. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
2. Ты красок себе пожелала И выхватил лапой своей Рисующий лев из пенала С полдюжины карандашей. Страна москательных пожаров И мертвых гончарных равнин, Ты рыжебородых сардаров Терпела средь камней и глин. Вдали якорей и трезубцев, Где жухлый почил материк, Ты видела всех жизнелюбцев, Всех казнелюбивых владык. И, крови моей не волнуя, Как детский рисунок просты, Здесь жены проходят, даруя От львиной своей красоты. Как люб мне язык твой зловещий, Твои молодые гроба, Где буквы – кузнечные клещи И каждое слово – скоба.

45

3. Ах, ничего я не вижу, и бедное ухо оглохло, Всех-то цветов мне осталось лишь сурик да хриплая охра.

И почему-то мне начало утро армянское сниться, Думал – возьму посмотрю, как живет в Эривани синица,

Как нагибается булочник, с хлебом играющий в жмурки, Из очага вынимает лавашные влажные шкурки...

Ах, Эривань, Эривань! Иль птица тебя рисовала, Или раскрашивал лев, как дитя, из цветного пенала?

Ах, Эривань, Эривань! Не город – орешек каленый, Улиц твоих большееротых кривые люблю Вавилоны.

Я бестолковую жизнь, как мулла свой коран, замусолил, Время свое заморозил и крови горячей не пролил.

Ах, Эривань, Эривань, ничего мне больше не надо, Я не хочу твоего замороженного винограда!

4. Закутав рот, как влажную розу, Держа в руках осьмигранные соты, Все утро дней на окраине мира Ты простояла, глотая слезы. И отвернулась со стыдом и скорбью От городов бородатых востока, И вот лежишь на москательном ложе, И с тебя снимают посмертную маску.

5. Руку платком обмотай и в венценосный шиповник, В самую гущу его целлулоидных терний Смело до хруста ее погрузи, Добудем розу без ножниц! Но смотри, чтобы он не осыпался сразу Розовый мусор – муслин – лепесток соломоновый И для шербета негодный дичок, Не дающий ни масла, ни запаха.

6. Орущих камней государство Армения, Армения! Хриплые горы к оружию зовущая Армения, Армения! К трубам серебряным азии вечно летящая Армения, Армения! Солнца персидские деньги щедро раздаривающая Армения, Армения!

7. Не развалины, нет, но порубка могучего циркульного леса, Якорные пни поваленных дубов звериного и басенного

христианства,

46

Рулоны каменного сукна на капителях, как товар

из языческой разграбленной лавки, Виноградины с голубиное яйцо, завитки бараньих рогов И нахохленные орлы с совиными крыльями,

еще не оскверненные Византией.

8. Холодно розе в снегу. На Севане снег в три аршина... Вытащил горный рыбак расписные лазурные сани. Сытых форелей усатые морды Несут полицейскую службу На известковом дне. А в Эривани и в Эчмиадзине Весь воздух выпила огромная гора, Ее бы приманить какой-то окариной Иль дудкой приручить, Чтоб таял снег во рту. Снега, снега, снега на рисовой бумаге. Гора плывет к губам. Мне холодно. Я рад...

9. О порфирные цокая граниты, Спотыкается крестьянская лошадка, Забираясь на лысый цоколь Государственного звонкого камня. А за нею с узелками сыра, Еле дух

Стихотворения 1908–1937. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru переводя, бегут курдины, Примирившие дьявола и бога, Каждому воздавши половину.

10. Какая роскошь в нищенском селеньи Волосная музыка воды! Что это? Пряжа? Звук? Предупрежденье? Чур-чур меня! Далеко ль до беды! И в лабиринте влажного распева Такая душная стрекочет мгла, Как будто в гости водяная дева К часовщику подземному пришла.

11. Я тебя никогда не увижу, Близорукое армянское небо, И уже не взгляну, прищурясь, На дорожный шатер Арарата, И уже никогда не раскрою В библиотеке авторов гончарных Прекрасной земли пустотелую книгу, По которой учились первые люди.

12. Лазурь да глина, глина да лазурь, Чего ж тебе еще? Скорей глаза сощурь,
47

Как близорукий шах над перстнем бирюзовым, Над книгой звонких глин, над книжною землей, Над гнойной книгою, над глиной дорогой, Которой мучимся, как музыкой и словом.

16 октября – 5 ноября 1930

Не говори никому, Все, что ты видел, забудь Птицу, старуху, тюрьму Или еще что-нибудь...

Или охватит тебя, Только уста разомкнешь, При наступлении дня Мелкая хвойная дрожь.

Вспомнишь на даче осу, Детский чернильный пенал, Или чернику в лесу, Что никогда не собирал.

Октябрь 1930, Тифлис.

На полицейской бумаге верже Ночь наглоталась колючих ершей Звезды поют – канцелярские птички Пишут и пишут свои рапортчики.

Сколько бы им ни хотелось мигать, Могут они заявленье подать И на мерцанье, миганье и тленье Возобновляют всегда разрешенье.

Октябрь 1930

И по звериному воеет людьё И по людски куролесит зверье... Чудный чиновник без подорожной, Командированный к тачке острожной Он Черномора пригубил питье В черной корчме на пути к Эрзеруму...

ноябрь 1930, Тифлис

Я вернулся в мой город, знакомый до слез, До прожилок, до детских припухлых желез.

Ты вернулся сюда, – так глотай же скорей Рыбий жир ленинградских речных фонарей.

48

Узнавай же скорее декабрьский денек, Где к зловещему дегтю подмешан желток.

Петербург, я еще не хочу умирать: У тебя телефонов моих номера.

Петербург, у меня еще есть адреса, По которым найду мертвецов голоса.

Стихотворения 1908–1937. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
Я на лестнице черной живу, и в висок Ударяет мне вырванный с мясом звонок.

И всю ночь напролет жду гостей дорогих, Шевеля кандалами цепочек дверных.

декабрь 1930

Помоги, господь, эту ночь прожить: Я за жизнь боюсь – за твою рабу В Петербурге
жить – словно спать в гробу!

январь 1931

Мы с тобой на кухне посидим, Сладко пахнет белый керосин. Острый нож да хлеба
каравай... Хочешь, примус туго накачай, А не то веревок собери Завязать корзину
до зари, Чтобы нам уехать на вокзал, Где бы нас никто не отыскал.

январь 1931

Ma Voix aigre et fesse...

P.Verlain

Я скажу тебе с последней Прямотой: Все лишь бредни, шерри-бренди, Ангел мой. Там
где эллину сияла Красота, Мне из черных дыр зияла Срамота. Греки сбондили Елену
По волнам, Ну а мне – соленой пеной По губам. По губам меня помажет Пустота,

49

Строгий кукиш мне покажет Нищета. Ой-ли, так-ли, дуй-ли, вей-ли, Все равно.
Ангел Мэри, пей коктейли, Дуй вино! Я скажу тебе с последней Прямотой: Все лишь
бредни, шерри-бренди, Ангел мой.

2 марта 1931

Колют ресницы, в груди прикипела слеза. Чую без страху, что будет и будет гроза.
Кто-то чудной меня что-то торопит забыть. Душно, – и все-таки до смерти хочется
жить.

С нар приподнявшись на первый раздавшийся звук, Дико и сонно еще озираясь
вокруг, Так вот бушлатник шершавую песню поет В час, как полоской заря над
острогом встает.

март 1931

За гремучую доблесть грядущих веков, За высокое племя людей Я лишился и чаши на
пире отцов, И веселья, и чести своей.

Мне на плечи кидается век-волкодав, Но не волк я по крови своей, Запихай меня
лучше, как шапку, в рукав Жаркой шубы сибирских степей.

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы, Ни кровавых костей в колесе, чтоб
сияли всю ночь голубые песцы Мне в своей первобытной красе.

Уведи меня в ночь, где течет Енисей, Где сосна до звезды достает, Потому что не
волк я по крови своей И меня только равный убьет.

17–28 марта 1931

После полуночи сердце ворует Прямо из рук запрещенную тишь, Тихо живет, хорошо озорует Любишь – не любишь – ни с чем не сравнишь.

50

Любишь – не любишь, поймешь – не поймаешь... Так почему ж как подкидываешь дрожишь? После полуночи сердце пирует, Взав на прикус серебристую мышь.

Март 1931, Москва

Жил Александр Герцович, Еврейский музыкант, Он Шуберта наверхивал Как чистый бриллиант. И всласть, с утра до вечера, Заученную вхруст, Одну сонату вечную Твердил он наизусть. Что, Александр Герцович, На улице темно? Брось, Александр Сердцевич, Чего там! Все равно! Пускай там итальяночка, Покуда снег хрустит, На узеньких на саночках За Шубертом летит. Нам с музыкой-голубою Не страшно умереть, А там – вороньей шубою На вешалке висеть. Все, Александр Герцович, Заверчено давно, Брось, Александр Скерцович, Чего там! Все равно!

27 марта 1931

Я пью за военные астры, за все, чем корили меня: За барскую шубу, за астму, за желчь петербургского дня. За музыку сосен савойских, полей елисейских бензин, За розы в кабине ролс-ройса, за масло парижских картин. Я пью за бискайские волны, за сливок альпийских кувшин, За рыжую спесь англичанок и дальних колоний хинин, Я пью, но еще не придумал, из двух выбирая одно: Душистое асти-спуманте иль папского замка вино...

11 апреля 1931

51

Я с дымящей лучиной вхожу К шестипалой неправде в избу: Дай-ка я на тебя погляжу Ведь лежать мне в сосновом гробу!

А она мне соленых грибков Вынимает в горшке из-под нар, А она из ребячьих пупков Подает мне горячий отвар.

– Захочу, – говорит, – дам еще... Ну, а я не дышу, – сам не рад. Шасть к порогу – куда там! – В плечо Уцепилась и тащит назад.

Тишь да глушь у нее, вошь да мша, Полуспаленка, полутюрьма. – Ничего, хорошо, хороша! Я и сам ведь такой же, кума.

4 апреля 1931

Нет, не спрятаться мне от великой муры За извозчицью спину-москву Я трамвайная вишенка страшной поры И не знаю – зачем я живу.

Ты со мною поедешь на "а" и на "б" Посмотреть, кто скорее умрет. А она – то сжимается, как воробей, То растет, как воздушный пирог.

И едва успеваешь грозить из дупла Ты – как хочешь, а я не рискну, У кого под перчаткой не хватит тепла, Чтоб объехать всю курву-москву.

Апрель 1931

Ночь на дворе. Барская лжа! После меня – хоть потоп. Что же потом? – Храп

Стихотворения 1908–1937. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
горожан И толкотня в гардероб.

Бал маскарад. Век-волкодав. Так затверди назубок: С шапкой в руках, шапку в
рукав И да хранит тебя бог!

Апрель 1931, Москва

52

Канцона

Неужели я увижу завтра Сердце бьется, слава лейся Вас, банкиры горного
ландшафта, Вас, держатели могучих акций гнейса. Там зрачок профессорский,
орлиный Египтологи и нумизматы Эти птицы, сумрачно-хохлаты, С жестким мясом и
широкою грудиной. То Зевес подкручивает с толком Золотыми пальцами краснодеревца
Замечательные луковицы-стекла Прозорливцу дар от псалмопевца. Он глядит в
бинокль прекрасный Цейса Дорогой подарок царь-Давида, Замечает все морщины
гнейса, Где сосна иль деревушка-гнида. Я покину край гипербореев, Чтобы зреньем
напитать судьбы развязку, Я скажу "селям" начальнику евреев За его малиновую
ласку. Край небритых гор еще неясен, Мелколесья колетса щетина, И свежа, как
вымытая басня, До оскомины зеленая долина. Я люблю военные бинокли С
ростовщической силой зренья Две лишь в мире краски не поблекли: В желтой -
зависть, в красной - нетерпенье.

26 мая 1931

Отрывки из уничтоженных стихов

1. В год тридцать первый от рожденья века Я возвратился, нет - читай: насильно
Был возвращен в буддийскую москву, А перед тем я все-таки увидел Библейской
скатертью богатый Арарат И двести дней провел в стране субботней, которую
Арменией зовут. Захочешь пить - там есть вода такая Из курдского источника Арзни
Хорошая, колючая, сухая И самая правдивая вода.

2. Уж я люблю московские законы,

53

Уж не скучаю по воде Арзни В москве черемуха да телефоны И
.....

3. Захочешь жить, тогда глядишь с улыбкой На молоко с буддийской синевой,
Проводишь взглядом барабан турецкий, Когда обратно он на красных дрогах Несется
вскачь с гражданских похорон, И встретишь воз с поклажей из подушек И скажешь:
гуси-лебеди, домой!

4. Я больше не ребенок.

ты, могила, Не смей учить горбатого - молчи! Я говорю за всех с такою силой, что
небо стало небом, чтобы губы Потрескались, как розовая глина.

6 июня 1931, Москва

5. Не табачною кровью заката пишу, Не костяшками дева стучит Человеческий жаркий
искривленный рот Негодует и "нет" говорит...

6. Золотилась черешня московских торцов И пыхтел грузовик у ворот, И по улицам
шел на дворцы и морцы Самопишущий черный народ...

7. Замолчи! Я не верю уже ничему Я такой же как ты пешеход, Но меня возвращает к
стыду моему Твой грозящий искривленный рот.

Стихотворения 1908–1937. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
Как народная громада, Прошибая землю в пот, Многоярусное стадо Пропыленную
армадой Ровно в голову плывет.

Телки с нежными боками И бычки-баловники, А за ними – кораблями Буйволицы с
буйволами И священники-быки.

июнь 1931, Москва

54

ФАЭТОНЩИК

На высоком перевале В мусульманской стороне Мы со смертью пировали Было страшно,
как во сне. Нам попался фаэтонщик, Пропеченный, как изюм, Словно дьявола
поденщик, Односложен и угрюм. То гортанный крик араба, То бессмысленное "цо";
Словно розу или жабу, Он берег свое лицо. Под кожевенную маской Скрыв ужасные
черты, Он куда-то гнал коляску До последней хрипоты. И пошли толчки, разгоны, И
не слезть было с горы, Закружились фаэтоны, Постоялые дворы... Я очнулся: стой,
приятель! Я припомнил, черт возьми! Это чумный председатель Заблудился с
лошадьми. Он безносой канителью Правит, душу веселя, Чтоб кружилась каруселью
Кисло-сладкая земля. Так в Нагорном Карабахе, Я изведаль эти страхи Соприродные
душе. Сорок тысяч мертвых окон Там видны со всех сторон, И труда бездушный кокон
На горах похоронен. И бесстыдно розовеют Обнаженные дома, А над ними неба мреет
Темно-синяя чума.

июнь 1931

55

Сегодня можно снять декалькомани, Мизинец окунув в москву-реку, С
разбойника-кремля. Какая прелесть фисташковые эти голубятни Хоть проса им
насыпать, хоть овса! А в недорослях кто? Иван великий Великовозрастная
колокольня, Стоит себе еще болван-болваном Который век. Его бы за границу, чтоб
доучился. Да куда там!.. Стыдно.

Река-Москва в четырехтрубном дыме, И перед нами весь раскрытый город Купальщички
заводы и сады Замоскворецкие. Не так ли, Откинув палисандровую крышку Огромного
концертного рояля, Мы проникаем в звучное нутро? Белогвардейцы, вы его видали?
Рояль москвы слышали? Гули-гули!

Мне кажется, как всякое другое, То время незаконно... Как мальчишка, За
взрослыми в морщинистую воду, Я, кажется, в грядущее вхожу И, кажется, его я не
увиджу.

Уж я не выйду с молодостью в ногу На разлинованные стадионы, Разбуженный
повесткой мотоцикла, Я на рассвете не вскочу с постели, В хрустальные дворцы на
курьих ножках Я даже легкой тенью не войду.

Мне с каждым днем дышать все тяжелее, А между тем нельзя повременить И рождены
для наслажденья бегом Лишь сердце человека и коня...

А фауста бес – сухой и молажавый Вновь старику кидается в ребро, И подбивает
взять почасно ялик, Или махнуть на Воробьевы горы, Иль на трамвае охлестнуть
москву... Ей некогда: она сегодня в няньках Все мечется на сорок тысяч люлек,
Она одна и пряжа на руках.

Какое лето! Молодых рабочих Татарские сверкающие спины С девической повязкой на
хребтах, Таинственные узкие лопатки

56

И детские ключицы. Здравствуй, здравствуй, Могучий некрещеный позвоночник, С
которым проживем не век, не два!

С миром державным я был лишь ребячески связан, Устриц боялся и на гвардейцев глядел исподлобья, И ни крупницей души я ему не обязан, Как я не мучал себя по чужому подобию. С важностью глупой, насупившись, в митре бобровой, Я не стоял под египетским портиком банка, И над лимонной Невою под хруст сторублевый Мне никогда, никогда не плясала цыганка. Чуя грядущие казни, от рева событий мятежных Я убежал к nereидам на черное море, И от красавиц тогдашних, от тех европейок нежных, Сколько я принял смущенья, надсады и горя! Так отчего ж до сих пор этот город довлеет Мыслям и чувствам моим по старинному праву? Он от пожаров еще и морозов наглеет, Самолюбивый, проклятый, пустой, моложавый. Не потому ль, что я видел на детской картинке Леди Годиву с распущенной рыжею гривой, Я повторяю еще про себя, под сурдинку: "Леди Годива, прощай! Я не помню, Годива..."

январь – февраль 1931

Еще далеко мне до патриарха, Еще на мне полупочтенный возраст, Еще меня ругают за глаза На языке трамвайных перебранок, В котором нет ни смысла, ни аза: "такой-сякой". Ну что ж, я извиняюсь, Но в глубине ничуть не изменяюсь. Когда подумаешь, чем связан с миром, То сам себе не веришь: ерунда! Полночный ключик от чужой квартиры, Да гривенник серебряный в кармане, Да целлулоид фильмы воровской. Я, как щенок, кидаюсь к телефону На каждый истерический звонок: В нем слышно польское: "Дзенькуе, пани", Иногородний ласковый упрек Иль неисполненное обещанье. Все думаешь, к чему бы приохотиться Посереде хлопущек и шутих, Перекипишь, а там, гляди, останется Одна сумятица да безработица: Пожалуйста, прикуривай у них! То усмехнусь, то робко приосанюсь И с белорукой тростью выхожу,

57

Я слушаю сонаты в переулках, У всех лотков облизываю губы, Листаю книги в глыбких подворотнях, И не живу, и все-таки живу.

Я к воробьям пойду и к репортерам, Я к уличным фотографам пойду, И в пять минут – лопаткой из ведерка Я получу свое изображение Под конусом лиловой шах-горы.

А иногда пущусь на побегушки В распаренные душные подвалы, Где чистые и честные китайцы Хватают палочками шарики из теста, Играют в узкие нарезанные карты И водку пьют, как ласточки с Янцзы.

Люблю разъезды скворчущих трамваев, И астраханскую икру асфальта, Накрытого соломенной рогожей, Напоминающей корзинку асти, И страусовы перья арматуры В начале стройки ленинских домов.

Вхожу в вертепы чудные музеев, Где пучатся кашеевы Рембрандты, Достигнув блеска кордованской кожи, Дивлюсь рогатым митрам Тициана, И Тинторетто пестрому дивлюсь, За тысячу крикливых попугаев.

И до чего хочу я разыгаться, Разговориться, выговорить правду, Послать хандру к туману, к бесу, к ляду, Взять за руку кого-нибудь: "будь ласков, Сказать ему, – нам по пути с тобой..."

Май – сентябрь 1931

Довольно кукситься, бумаги в стол засунем, Я нынче славным бесом обуян, Как будто в корень голову шампунем Мне вымыл парикмахер франсуа.

Держу пари, что я еще не умер, И, как жокей, ручаюсь головой, Что я еще могу набедокурить На рысистой дорожке беговой.

Даржу в уме, что нынче тридцать первый Прекрасный год в черемухах цветет, Что

Стихотворения 1908–1937. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
возмужали дождевые черви И вся Москва на яликах плывет.

58

Не волноваться: нетерпенье – роскошь. Я постепенно скорость разовью, Холодным шагом выйдем на дорожку, Я сохранил дистанцию мою.

7 июня 1931

Ламарк

Был старик, застенчивый, как мальчик, Неуклюжий, робкий патриарх. Кто за честь природы фехтовальщик? Ну конечно, пламенный Ламарк. Если все живое лишь помарка За короткий выморочный день, На подвижной лестнице Ламарка Я займу последнюю ступень. К кольцецам спущусь и к усоногим, Прошуршав средь ящериц и змей, По упругим сходням, по излогам Сокращусь, исчезну, как протей. Роговую мантию надену, От горячей крови откажусь, Обрасту присосками и в пену Океана завитком вопьюсь. Мы прошли разряды насекомых С наливными рюмочками глаз Он сказал: "природа вся в разломах, Зренья нет, – ты зришь в последний раз". Он сказал: "довольно полнозвучья, Ты напрасно Моцарта любил, Наступает глухота паучья, Здесь провал сильнее наших сил". И от нас природа отступила Так, как будто мы ей не нужны, И продольный мозг она вложила, Словно шпагу, в темные ножны. И подъемный мост она забыла, Опустила опустить для тех, У кого зеленая могила, Красное дыханье, гибкий смех.

7–9 мая 1932

59

Дайте Тютчеву стрекозу, Догадайтесь, почему! Веневитинову – розу, Ну, а перстень – никому!

Баратынского подошвы Раздражают прах веков. У него без всякой прошвы Наволочки облаков.

А еще над нами волен Лермонтов, мучитель наш, И всегда одышкой болен Фета жирный карандаш.

Май–июль 1932

(вариант)

А еще богохранима На гвоздях торчит всегда У ворот Ерусалима Хомякова борода.

Импрессионизм

Художник нам изобразил Глубокий обморок сирени И красок звучные ступени На холст как струпья положил.

Он понял масла густоту, Его запекшееся лето Лиловым мозгом разогрето, Расширенное в духоту.

А тень–то, тень все лиловой, Свисток иль хлыст как спичка тухнет. Ты скажешь: повара на кухне Готовят жирных голубей.

Угадывается качель, Недомалеваны вуали, И в этом сумрачном развале Уже хозяйничает шмель.

23 мая 1932

60

Когда в далекую Корею Катился русский золотой, Я убежал в оранжерею, держа ириску за щекой. Была пора смешливой бульбы и щитовидной железы, была пора Тараса Бульбы и подступающей грозы. Самоуправство, своеволие, Поход троянского коня, А над поленницей посольство Эфира, солнца и огня. Был от поленьев воздух жирен, как гусеница во дворе, и Петропавловску-Цусиме Ура на дровяной горе. К царевичу младому хлору И – господи благослови! Как мы в высоких голенищах за хлороформом в гору шли... Я пережил того подростка и широка моя стезя Другие сны, другие гнезда, Но не разбойничать нельзя.

11–13 мая 1932

Там, где купальни, бумагопрядильни и широчайшие зеленые сады, На москве-реке есть светоговорильня с гребешками отдыха, культуры и воды. Эта слабогрудая речная волокита, Скучные-нескучные, как халва, холмы, Эти судоходные марки и открытки, На которых носимся и несемся мы. У реки Оки вывернуто веко, Оттого-то и на москве ветерок. У сестрицы Клязьмы загнулась ресница, Оттого на Яузе утка плывет. На москве-реке почтовым пахнет клеем, Там играют Шуберта в раструбы рупоров, Вода на булавах, и воздух нежнее лягушиной кожи воздушных шаров.

61

К немецкой речи

Себя губя, себе противореча, как моль летит на огонек полночный, Мне хочется уйти из нашей речи за все, чем я обязан ей бессрочно.

Есть между нами похвала без лести, и дружба есть в упор, без фарисейства, Поучимся ж серьезности и чести на западе, у чуждого семейства.

Поэзия, тебе полезны грозы! Я вспоминаю немца-офицера: и за эфес его цеплялись розы, и на губах его была Церера.

Еще во Франкфурте отцы зевали, еще о Гете не было известий, Слагались гимны, кони гарцевали и, словно буквы, прыгали на месте.

Скажите мне, друзья, в какой Валгалле мы вместе с вами щелкали орехи, какой свободой вы располагали, какие вы поставили мне вехи?

И прямо со страницы альманаха, от новизны его первостатейной, Сбегали в гроб – ступеньками, без страха, как в погребок за кружкой мозельвейна.

Чужая речь мне будет оболочкой, и много прежде, чем я смел родиться, я буквой был, был виноградной строчкой, я книгой был, которая вам снится.

Когда я спал без облика и склада, я дружкой был, как выстрелом, разбужен. Бог Нахтигаль, дай мне судьбу Пилада иль вырви мне язык – он мне не нужен.

Бог Нахтигаль, меня еще вербуют для новых чум, для семилетних боен. Звук сузился. Слова шипят, бунтуют, но ты живешь, и я с тобой спокоен.

8–12 августа 1932

62

Друг Ариоста, друг Петрарки, Тассо друг язык бессмысленный, язык солено-сладкий и звуков стакнутых прелестные двойчатки, Боюсь раскрыть ножом двустворчатый жемчуг!

Старый Крым, май 1933

Не искушай чужих наречий, но постарайся их забыть Ведь все равно ты не сумеешь
стекла зубами укусить! Ведь умирающее тело и мыслящий бессмертный рот В
последний раз перед разлукой чужое имя не спасет. О, как мучительно дается
чужого клекота почет За незаконные восторги лихая плата стережет. Что если
Ариост и Тассо, обворожающие нас, Чудовища с лазурным мозгом и чешуей из влажных
глаз. И в наказание за гордыню, неисправимый звуколюб, Получишь уксусную губку
ты для изменнических губ.

май 1933, Старый Крым

Холодная весна. Голодный Старый Крым, Как был при Врангеле – такой же виноватый.
Овчарки на дворах, на рубищах заплаты, Такой же серенький, кусающийся дым. Все
так же хороша рассеянная даль, Деревья, почками набухшие на малость, Стоят как
пришлые, и вызывает жалость Вчерашней глупостью украшенный миндаль. Природа
своего не узнает лица, А тени страшные – Украины, Кубани... Как в туфлях
войлочных голодные крестьяне Калитку стерегут, не трогая кольца.

Июнь 1933, Старый Крым

63

Квартира тиха, как бумага Пустая без всяких затей И слышно, как булькает влага
По трубам внутри батареи.

Имущество в полном порядке, Лягушкой застыл телефон, Видавшие виды манатки На
улицу просятся вон.

А стены проклятые тонки, И некуда больше бежать А я как дурак на гребенке Обязан
кому-то играть...

Пайковые книги читаю, Пеньковые речи ловлю, И грозные баюшки-баю Кулацкому баю
пою.

Какой-нибудь изобразитель, Чесатель колхозного льна, Чернила и крови смеситель
Достоин такого рожна.

Какой-нибудь честный предатель, Проваренный в чистках, как соль, Жены и детей
содержатель Такую ухлопает моль...

Давай же с тобой, как на плахе, За семьдесят лет, начинать Тебе, старику и
неряхе, Пора сапогами стучать.

И вместо ключа Ипокрены Домашнего страха струя Ворвется в халтурные стены
Московского злого жилья.

Ноябрь 1933

Восьмистишия

1.

Люблю появление ткани, Когда после двух или трех, А то четырех задыханий Придет
выпрямительный вздох И дугами парусных гонок Открытые формы чертя,

64

Играет пространство спросонок Не знавшее люльки дитя.

ноябрь 1933, Москва

Стихотворения 1908–1937. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
июль 1935, Воронеж

2.

Люблю появление ткани, Когда после двух или трех, А то четырех задыханий Придет
выпрямительный вздох И так хорошо мне и тяжело, Когда приближается миг И вдруг
дуговая растяжка Звучит в бормотаньях моих.

ноябрь 1933, Москва

3.

О, бабочка, о, мусульманка, В разрезанном саване вся Жизнечка и умирачка,
Такая большая, сия! С большими усами кусава Ушла с головою в бурнус. О, флагом
развернутый саван, Сложи свои крылья – боюсь!

ноябрь 1933, Москва

4.

Шестого чувства крохотный придаток Иль ящерицы теменной глазок, Монастыри улиток
и створчаток, Мерцающих ресничек говорок. Недостижимое, как это близко! Ни
разглядеть нельзя, ни посмотреть, Как будто в руку вложена записка И на нее
немедленно ответь.

Май 1934, Москва

5.

Преодолев затверженность природы, Голуботвердый глаз проник в ее закон, В земной
коре юродствуют породы, И как руда из груди рвется стон. И тянется глухой
недоразвиток, Как бы дорогой, согнутой в рог, Понять пространства внутренний
избыток И лепестка и купола залог.

январь 1933, Москва

65

6.

Когда, уничтожив набросок, Ты держишь прилежно в уме Период без тягостных
сносок, Единый во внутренней тьме, И он лишь на собственной тяге, Зажмурившись,
держится сам Он так же отнесся к бумаге, Как купол к пустым небесам.

ноябрь 1933, Москва

7.

И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьей гамме, И Гете, свищущий на вьющейся тропе, И
Гамлет, мысливший пугливыми шагами, Считали пульс толпы и верили толпе. Быть
может, прежде губ уже родился шепот

И в бездревесности кружились листья, И те, кому мы посвящаем опыт, До опыта
приобрели черты.

январь 1934, Москва

8.

И клена зубчатая лапа Купается в круглых углах, И можно из бабочек крапа Рисунки
слагать на стенах. Бывают мечети живые, И я догадался сейчас: Быть может, мы –
айя-софия С бесчисленным множеством глаз.

январь 1934, Москва

9.

Скажи мне, чертежник пустыни, Сыпучих песков геометр, Ужели безудержность линий

Стихотворения 1908–1937. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
Сильнее, чем дующий ветер? – меня не касается трепет Его иудейских забот Он опыт
из лепета лепит И лепет из опыта пьет.

Ноябрь 1933, Москва

10.

В игольчатых чумных бокалах Мы пьем наважденья причин, Касаемся крючьями малых,
66

Как легкая смерть, величин. И там, где сцепились бирюльки, Ребенок молчанье
хранит Большая вселенная в люльке У маленькой вечности спит.

Ноябрь 1933, Москва

11.

И я выхожу из пространства В запущенный сад величин, И мнимое рву постоянство И
самосогласье причин. И твой, бесконечность, учебник Читаю один, без людей
Безлиственный дикий лечебник, Задачник огромных корней.

ноябрь 1933, Москва

Татары, узбеки и ненцы И весь украинский народ, И даже приволжские немцы К себе
переводчиков ждут. И может быть в эту минуту Меня на турецкий язык Японец какой
переводит И прямо мне в душу проник.

У нашей святой молодежи Хорошие песни в крови: На баюшки-баю похожи, И баю
борьбу об'яви. И я за собой примечаю И что-то такое пою: Колхозного бая качаю,
Кулацкого бая пою.

Как из одной высокогорной щели Течет вода, на вкус разноречива, Полужестка,
полусладка, двулична, Так, чтобы умереть на самом деле, Тысячу раз на дню лишусь
обычной Свободы вдоха и сознанья щели.

январь 1934

(декабрь 1933?)

67

А. Белому

Когда душе и торопкой и робкой Предстанет вдруг событий глубина, Она бежит
виющеюся тропкой, Но смерти ей тропинка не ясна. Он, кажется, дичился умиранья
Застенчивостью славной новичка Иль звука-первенца в блистательном собраньи, Что
льется внутрь – в продольный лес смычка, И льется вспять, еще ленясь и мерясь То
мерой льна, то мерой волокна, И льется смолкой – сам себе не верясь Из ничего,
из нити, из темна, Лиясь для ласковой, только что снятой маски, Для пальцев
гипсовых, не держащих пера, Для укрупненных губ, для укрепленной ласки,
Крупнозернистого покоя и добра.

январь 1934, Москва

Мы живем под собою не чуя страны, Наши речи за десять шагов не слышны, А где
хватит на полразговорца, Там помянут кремлевского горца.

Его толстые пальцы, как черви, жирны, И слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища, И сияют его голенища.

А вокруг его сброд толстокожих вождей, Он играет услугами полулюдей. Как подковы кует за указом указ Кому в лоб, кому в бровь, кому в пах, кому в глаз.

Что ни казнь у него, то малина И широкая грудь осетина.

1934

Твоим узким плечам под бичами краснеть, Под бичами краснеть, на морозе гореть.

Твоим детским рукам утюги поднимать, Утюги поднимать да веревки вязать.

Твоим нежным ногам по стеклу босиком, По стеклу босиком да кровавым песком...

Ну, а мне за тебя черной свечкой гореть, Черной свечкой гореть да молиться не сметь.

1934

68

Наушнички, наушнички мои, Попомню я Воронежские ночки: Недопитого голоса аи И в полночь с красной площади гудочки...

Ну, как метро? Молчи, в себе таи, Не спрашивай, как набухают почки... А вы, часов кремлевские бои Язык пространства, сжатого до точки.

апрель 1935, Воронеж.

Я живу на важных огородах, Ванька-ключник мог бы здесь гулять. Ветер служит даром на заводах, И далеко убегает гать. Чернопахотная ночь степных закраин в мелкобисерных иззябла огоньках. За стеной обиженный хозяин Ходит-бродит в русских сапогах. И богато искривилась половица Этой палубы гробовая доска. У чужих людей мне плохо спится, И своя-то жизнь мне не близка.

Апрель 1935, Воронеж

Пусти меня, отдай меня, Воронеж, Уронишь ты меня иль проворонишь, Ты выронишь меня или вернешь Воронеж – блажь, Воронеж – ворон, нож!

апрель 1935, Воронеж

Возможна ли женщине мертвой хвала? Она в отчуждении и силе, Ее чужелюбая власть привела К насильственной жаркой могиле. И твердые ласточки круглых бровей Из гроба ко мне прилетели Сказать, что они отлежались в своей Холодной Стокгольмской постели. И прадеда скрипкой гордится твой род. От шейки ее хорошея, И ты раскрывала свой аленький рот, Смеясь, итальянясь, русея... Я тяжкую память твою берегу, Дичок, медвежонок, миньона, Но мельниц колеса зимуют в снегу, И стынет рожок почтальона.

3-4 апреля – 3 июня 1935, Воронеж

69

Тянули жилы, жили были Не жили, не были нигде. Бетховен и Воронеж – или Один или другой – злодей.

На базе темных отношений Производили глухоту Семидесяти стульев тени На

Стихотворения 1908–1937. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
первомайском холоду.

В театре публики лежало Не больше трех карандашей И дирижер, стараясь мало,
Казался чертом средь людей.

Май 1935, Воронеж.

Железо

Идут года железными полками И воздух полн железными шарами. Оно бесцветное – в
воде, железясь, И розовое, на подушке грезясь.

Железна правда – живой на зависть, Железен пестик и железна завязь. И железой
поэзия в железе Слезящаяся в родовом разрезе.

22 мая 1935, Воронеж.

Кама

Как на Каме–реке глазу темно, когда На дубовых коленях стоят города.

В паутину рядясь – борода к бороде Жгучий ельник бежит, молодея, к воде.

Упиралась вода в сто четыре весла, Вверх и вниз на Казань и на Чердынь несла.

Там я плыл по реке с занавеской в окне, С занавеской в окне, с головою в огне.

И со мною жена пять ночей не спала, Пять ночей не спала – трех конвойных везла.

май 1935, Воронеж

70

Лишив меня морей, разбега и разлета И дав стопе упор насильственной земли, Чего
добились вы? Блестящего расчета: Губ шевелящихся отнять вы не могли.

Воронеж

Эта, какая улица? Улица Мандельштама. Что за фамилия чертова? Как ее не
вывертывай, Криво звучит, а не прямо. Мало в нем было линейного. Нрава он был не
лилейного, И потому эта улица, Или, верней, эта яма Так и зовется по имени Этого
Мандельштама.

Воронеж

День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток Я, сжимаясь, гордился
пространством за то, что росло

На дрожжах. Сон был больше, чем слух, слух был старше, чем сон

Слитен, чуток... А за нами неслись большаки на ямщицких вожжах... День стоял о
пяти головах и, чумая от пляса, Ехала конная, пешая, шла черновехая масса:
Расширеньем аорты могущества в белых ногах, – нет, в ножах Глаз превращался в
хвойное мясо. На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко, Чтобы
двойка конвойного времени парусами неслась хорошо. Сухомятная русская сказка!
Деревянная ложка – ау! Где вы, трое славных ребят из железных ворот гпу? Чтобы
пушкина славный товар не пошел по рукам дармоедов, Грамотеет в шинелях с
наганами племя пушкиноведов Молодые любители белозубых стихков, На вершок бы мне

Стихотворения 1908–1937. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
синего моря, на игольное только ушко! Поезд шел на урал. В раскрытые рты нам
Говорящий Чапаев с картины скакал звуковой За бревенчатым тыном, на ленте
простынной Утонуть и вскочить на коня своего!

71

Римских ночей полновесные слитки, Юношу Гете манившее лоно, Пусть я в ответе, но
не в убытке Есть многодонная жизнь вне закона.

Июнь 1935, Воронеж

Исполню дымчатый обряд: В опале предо мной лежат Морского лета земляники
Двуискренние сердолики И муравьиный брат – агат, Но мне милей простой солдат
Морской пучины – серый, дикий, которому никто не рад.

июль 1935, Воронеж

Бежит волна, волной волне хребет ломая, Кидаясь на луну в невольничьей тоске, И
янычарская пучина молодая Неусыпленная столица волновая Кривеет, мечется и роет
ров в песке.

А через воздух сумрачно-хлопчатый Неначатой стены мерещатся зубцы, И с пенных
лестниц падают солдаты Султанов мнительных – разбрызганы, разъяты, И яд разносят
хладные скопцы.

июль 1935, Воронеж

Не мучнистой бабочкой белой в землю я заемный прах верну Я хочу, чтоб мыслящее
тело Превратилось в улицу, в страну Позвоночное, обугленное тело, Осознавшее
свою длину.

Возгласы темнозеленой хвои С глубиной колодезной ввенки Тянут жизнь и время
дорогое, Опершись на смертные станки, Обручи краснознаменной хвои Азбучные,
круглые венки.

Шли товарищи последнего призыва По работе в жестких небесах, Пронесла пехота
молчаливо Восклицанья ружей на плечах.

72

И зенитных тысячи орудий Карих то зрачков иль голубых Шли нестройно – люди,
люди, люди Кто же будет продолжать за них?

21 июля 1935, Воронеж

Да, я лежу в земле, губами шевеля, Но то, что я скажу, заучит каждый школьник:
На красной площади всего круглей земля, И скат ее твердеет добровольный, На
красной площади земля всего круглей, И скат ее нечаянно-раздольный, Откидываясь
вниз – до рисовых полей, Покуда на земле последний жив невольник.

май 1935

Стансы

Я не хочу средь юношей тепличных Разменивать последний грош души, Но, как в
колхоз идет единоличник, Я в мир вхожу, – и люди хороши. Люблю шинель

Стихотворения 1908–1937. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
красноармейской складки, Длину до пят, рукав простой и гладкий И волжской туче
родственный покров, Чтоб, на спине и на груди лопатясь, Она лежала, на запас не
тратясь, И скатывалась летнею порой. Проклятый шов, нелепая затея, Нас
разлучили. А теперь, пойми, Я должен жить, дыша и большевея, И, перед смертью
хорошея, Еще побыть и поиграть с людьми! Подумаешь, как в Чердыне-голубе, Где
пахнет Обью и Тобол в раструбе, В семивершковой я метался кутерьме. Клевещущих
козлов не досмотрел я драки, Как петушок в прозрачной летней тьме, Харчи, да
харк, да что-нибудь, да враки, Стук дятла сбросил с плеч. Прыжок. И я в уме. И
ты, Москва, сестра моя, легка, Когда встречаешь в самолете брата До первого
трамвайного звонка, Нежнее моря, путаней салата Из дерева, стекла и молока. Моя
страна со мною говорила, Мирволила, журила, не прочла, Но возмужавшего меня, как
очевидца, Заметила – и вдруг, как чечевица, Адмиралтейским лучиком зажгла. Я
должен жить, дыша и большевея, Работать речь, не слушаясь, сам-друг.

73

Я слышу в Арктике машин советских стук, Я помню все – немецких братьев шеи, И
что лиловым гребнем Лорелеи Садовник и палач наполнил свой досуг.

И не ограблен я, и не надломлен, Но только что всего переогромлен. Как "слово о
полку", струна моя туга, И в голосе моем после удушья Звучит земля – последнее
оружье Сухая влажность черноземных га...

Май – июнь 1935

Я в сердце века – путь неясен, И время отдаляет цель И посоха усталый яшень, И
меди нищенскую цвель.

зима 1936, Воронеж

Не у меня, не у тебя – у них Вся сила окончаний родовых: И с воздухом поющ
тростник и скважист, И с благодарностью улитки губ морских Потянут на себя их
дышащую тяжесть. Нет имени у них. Войди в их хрящ, И будешь ты наследником их
княжеств, И для людей, для их сердец живых, Блуждая в их развалинах, извивах,
Изобразишь и наслажденья их, И то, что мучит их, – в приливах и отливах.

9 декабря 1936, Воронеж

Нынче день какой-то желторотый: Не могу его понять И глядят приморские ворота В
якорях, в туманах на меня.

Тихий, тихий по воде линиялой Ход военных кораблей, И каналов узкие пеналы Подо
льдом еще черней.

9 декабря, Воронеж

74

Внутри горы бездействует кумир в покоях бережных, безбрежных и счастливых, А с
шеи каплет ожерелий жир, Оберегая сна приливы и отливы. Когда он мальчик был, и
с ним играл павлин, Его индийской радугой кормили, Давали молока из розоватых
глин И не жалели кошенили. Кость усыпленная завязана узлом, Очеловечены колени,
руки, плечи Он улыбается своим широким ртом, Он мыслит костию и чувствует челом
И вспомнить силится свой облик человечий.

Декабрь 1936, Воронеж

Внутри горы бездействует кумир С улыбкою дитяти в черных сливах, И с шеи каплет

Стихотворения 1908–1937. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
ожерелий жир, Оберегая сна приливы и отливы. Когда он мальчик был, и с ним играл
павлин, Его индийской радугой кормили, Давали молока из розоватых глин И не
жалели кошенили. И странно скрещенный, завязанный узлом Стыда и нежности,
бесчувствия и кости, Он улыбается своим широким ртом И начинает жить, когда
приходят гости.

1936, Воронеж

Сосновой рощицы закон Виол и арф семейный звон: Стволы извилисты и голы, Но все
же арфы и виолы Растут, как будто каждый ствол На арфы начал гнуть Эол И бросил,
о корнях жалея, Жалея ствол, жалея сил, Виолу с арфой пробудил Звучать в
коре, коричневая.

16 декабря 1936, Воронеж

75

А мастер пушечного цеха, Кузнечных памятников швец Мне скажет: ничего, отец, Уж
мы сошьем тебе такое...

1936, Воронеж

Шло цепочкой в темноводье Протяженных гроз ведро Из дворянского угодья В
океанское ядро.

Шло, само себя колыша, Осторожно, грозно шло. Смотришь: небо стало выше
Новоселье, дом и крыша И на улице светло!..

Декабрь 1936, Воронеж

Оттого все неудачи, Что я вижу пред собой Ростовщичий глаз кошачий Внук он
зелени стоячей И купец травы морской.

Там, где огненными щами Угощается Кашей, С говорящими камнями Он на счастье ждет
гостей, Камни трогает клещами, Щиплет золото гвоздей.

У него в покоях спящих Кот живет не для игры У того в зрачках горящих Клад
зажмуренной горы. И в зрачках тех леденящих, Умоляющих, просящих Шароватых искр
пиры.

20–30 декабря 1936, Воронеж

76

Детский рот жует свою мякину, Улыбается, жуя, Словно щеголь голову закину И
щегла увижу я. Хвостик лодкой, перья черно-желты, И нагрудник красный шит.
Черно-желтый, до чего щегол ты, До чего ты щеголовит! Подивлюсь на мир еще
немного, На детей и на снега, Но улыбка неподдельна, как дорога, Непослушна, не
слуга.

1936, Воронеж

Мой щегол, я голову закину, Поглядим на мир вдвоем. Зимний день, колючий, как
мякина, Так ли жестк в зрачке твоём? Хвостик лодкой, перья черно-желты, Ниже
клюва в краску влит, Сознаешь ли, до чего щегол ты, До чего ты щеголовит? Что за
воздух у него в надлобье Черн и красен, желт и бел! В обе стороны он в оба

Стихотворения 1908–1937. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
смотрит – в обе! Не посмотрит – улетел!

9–27 декабря 1936, Воронеж

Когда щегол в воздушной сдобе Вдруг затрясется, щегловит, Ученый плащик перчит
злоба, А чепчик черным красовит. Клевещет жердочка и планка, Клевещет клетка
сотней спиц И все на свете наизнанку, И есть лесная саламанка Для непослушных
умных птиц.

Зима 1936, Воронеж

77

Рождение улыбки

Когда заулыбается дитя С развилкой и горести и сласти, Концы его улыбки, не
шутя, Уходят в океанское безвластье.

Ему невыразимо хорошо, Углами губ оно играет в славе И радужный уже строчится
шов Для бесконечного познания яви.

На лапы из воды поднялся материк Улитки рта наплыв и приближение И бьет в глаза
один атлантов миг: Явленья явного в число чудес вселенье.

И цвет и вкус пространство потеряло, Хребтом и аркою поднялся материк, Улитка
выползла, улыбка просияла, Как два конца их радуга связала, И в оба глаза бьет
атлантов миг.

9 декабря 1936 – 11 января 1937, Воронеж

*** Вехи дальние обоза Сквозь стекло особняка. От тепла и от мороза Близкой
кажется река. И какой там лес, – еловый? Не еловый, а лиловый, И какая там
береза, Не скажу наверняка, Лишь чернил воздушных проза Неразборчива, легка...

26 декабря 1936

Эта область в темноводье Хляби хлеба, гроз ведро, Не дворянское уголье Океанское
ядро. Я люблю ее рисунок, Он на Африку похож. Дайте свет, – прозрачных лунок На
фанере не сочтешь... Анна, россошь и гремачье, Я твержу их имена. Белизна снегов
гагачья Из вагонного окна.

Я кружил в полях совхозных, Полон воздуха был рот,

78

Солнц подсолнечника грозных Прямо в очи оборот. Въехал ночью в рукавичный,
Снегом пышущий Тамбов, Видел цны – реки обычной Белый, белый, бел-покров.
Трудодень страны знакомой

Я запомнил навсегда, Воробьевского райкома Не забуду никогда. Где я? Что со мной
дурного? Степь беззимняя гола. Это мачеха Кольцова. Шутишь – родина щегла!
Только города немного В гололедицу обзор, Только чайника ночного Сам с собою
разговор... В гуще воздуха степного Переключка поездов Да украинская мова Их
растянутых гудков.

23–29 декабря 1936

Как подарок запоздалый Ощутима мной зима, Я люблю ее сначала Неуверенный размах.
Хороша она испугом, Как начало грозных дел. Перед всем безлесным кругом Даже
ворон оробел. Но сильней всего непрочноВыпуклых голубизна, Полукруглый лед

Стихотворения 1908–1937. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
височный Речек, бающих без сна...

29–30 декабря 1936

Я около Кольцова, Как сокол закольцован, И нет ко мне гонца, И дом мой без крыльца. К ноге моей привязан Сосновый синий бор, Как вестник, без указа Распахнут кругозор. В степи кочуют кочки И все идут, идут Ночлеги, ночи, ночки Как бы слепых везут...

1 (9) января 1937, Воронеж

79

Дрожжи мира дорогие Звуки, слезы и труды Словно вмятины, впервые Певчей полные воды, Подкопытные наперстки Бега сжатого следы Раздают не по разверстке: На столетья – без слюды.

Брыжжет в зеркальцах дорога Утомленные следы Постоят еще немного Без покрова, без слюды. И уже мое родное Отлегло, как будто вкось По нему прошло другое И на нем отозвалось...

12 января 1937, Воронеж

Дрожжи мира дорогие Звуки, слезы и труды Ударенья дождевые Закипающей беды И потери звуковые Из какой вернуть руды?

В нищей памяти впервые Чуешь вмятины слепые, Медной полные воды И идешь за ними следом, Сам себе не мил, неведом И слепой и поводырь.

12–18 января 1937, Воронеж

Влез бесенок в мокрой шерстке Ну, куда ему? Куды? В подкопытные наперстки, В торопливые следы По копейкам воздух версткий Обирает с слободы.

Брыжжет в зеркальцах дорога Торопливые следы Постоят еще немного Без покрова, без слюды. Колесо брызжит отлого Отлегло – и полбеда!

80

Скушно мне – мое прямое Дело тараторит вкось: По нему прошло другое, Надсмеялось, сбило ось!

12–18 января 1937, Воронеж

О, этот медленный одышливый простор Я им пресыщен до отказа! И отдышавшийся распахнут кругозор Повязку бы на оба глаза! Уж лучше б вынес я песка слоистый нрав На берегах зубчатых камы, Я б удержал ее застенчивый рукав, Ее круги, края и ямы. Я б с ней сработался – на век, на миг один Стремнин осадистых завистник Я б слушал под корой текущих древесин Ход кольцеванья волокнистый.

16 января 1937, Воронеж

Слышу, слышу ранний лед, Шелестящий под мостами, Вспоминаю, как плывет Светлый хмель над головами. С черствых лестниц, с площадей С угловатыми дворцами Круг флоренции своей Алигьери пел мощней Утомленными губами. Так гранит зернистый тот Тень моя грызет очами, Видит ночью ряд колод, Днем казавшихся домами, Или тень

Стихотворения 1908–1937. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
баклуши бьет и позевывает с вами, Иль шумит среди людей, Греясь их вином и
небом, и несладким кормит хлебом неотвязных лебедей.

21 января 1937, Воронеж

81

Не сравнивай: живущий несравним. С каким-то ласковым испугом Я соглашался с
равенством равнин, И неба круг мне был недугом.

Я обращался к воздуху-слуге, Ждал от него услуги или вести, И собирался в путь, и
плавал по дуге Неначинающихся путешествий...

Где больше неба мне – там я бродить готов, И ясная тоска меня не отпускает От
молодых еще, Воронежских холмов К всечеловеческим, яснеющим в Тоскане.

18 января 1937, Воронеж

Люблю морозное дыханье И пара зимнего признание: Я – это явь, явь – это явь!

И мальчик, красный, как фонарик, Своих салазок государик И заправила, мчится
вплывь.

И я – в размолвке с миром, с волей Заразе саночек мирволю В серебристых скобках,
в бахромах,

И век бы падал векши легче, И легче векши в мягкой речке, Полнеба в валенках, в
ногах!

24 января 1937, Воронеж

Где связанный и пригвожденный стон? Где Прометей – скалы подспорье и пособие? А
коршун где и желтоглазый гон Его когтей, летящих исподлобья?

Тому не быть – трагедий не вернуть, Но эти наступающие губы, Но эти губы вводят
прямо в суть Эсхила-грузчика, Софокла-лесоруба.

Он – эхо и привет, он – вежа, нет, – лемех... Воздушно-каменный театр времен
растущих Встал на ноги, и все хотят увидеть всех, Рожденных, гибельных и смерти
не имущих.

Январь, февраль 1937, Воронеж

82

Куда мне деться в этом январе? Открытый город сумасбродно цепок. От замкнутых
я, что ли, пьян дверей? И хочется мычать от всех замков и скрепок. И переулков
лающих чулки, И улиц перекошенных чуланы, И прячутся поспешно в уголки И
выбегают из углов угланы. И в яму, в бородавчатую темь Скольжу к обледенелой
водокачке, И, спотыкаясь, мертвый воздух ем, И разлетаются грачи в горячке, А я
за ними ахаю, крича В какой-то мерзлый деревянный короб: "Читателя! Советчика!
Врача! На лестнице колючей разговора б!"

январь 1937, Воронеж

Как женственное серебро горит, Что с окисью и примесью боролось, И тихая работа
серебрит Железный плуг и песнотворца голос.

Средь народного шума и спеха, На вокзалах и пристанях Смотрит века могучая вежа
И бровей начинается взмах. Я узнал, он узнал, ты узнала, А теперь куда хочешь
влеки В говорливые дебри вокзала, В ожиданья у мощной реки. Далеко теперь та
стоянка, Тот с водой кипяченой бак, На цепочке кружка-жестянка И глаза
застилавший мрак. Шла пермяцкого говора сила Пассажирская шла борьба И ласкала
меня и сверлила Со стены этих глаз журьба. Много скрыто дел предстоящих В наших
летчиках и жнецах, И в товарищах реках и чашах, И в товарищах городах... Не
припомнить того, что было, Губы жарки, слова черствы,

83

Занавеску белую било, Несся шум железной листвы.

А на деле-то было тихо Только шел пароход по реке. Да за кедром цвела гречиха,
Рыба шла на речном говорке.

И к нему – в его сердцевину Я без пропуска в кремль вошел, Разорвав расстояний
холстину, Головою повинной тяжел...

январь 1937, Воронеж

В лицо морозу я гляжу один, Он – никуда, я – ниоткуда, И все утюжится, плоится
без морщин Равнины дышащее чудо.

А солнце щурится в крахмальной нищете, Его прищур спокоен и утешен,
Десятизначные леса – почти что те... А снег хрустит в глазах, как чистый хлеб
безгрешен.

16 января 1937, Воронеж

Что делать нам с убитостью равнин, С протяжным голодом их гуда? Ведь то, что мы
открытостью их мним, Мы сами видим, засыпая, зрим, И все растет вопрос – куда
они? Откуда? И не ползет ли медленно по ним Тот, о котором мы во сне кричим,
Пространств несозданных Иуда?

/народов будущих Иуда/.

16 января 1937 года, Воронеж

Еще не умер ты, еще ты не один, Покуда с нищенкой-подругой Ты наслаждаешься
величием равнин, И мглой, и холодом, и вьюгой.

В роскошной бедности, в могучей нищете живи спокоен и утешен, Благословенны дни
и ночи те, И сладкогласный труд безгрешен.

84

Несчастлив тот, кого, как тень его, Пугает лай и ветер косит, И беден тот, кто,
сам полуживой, У тени милостыню просит.

январь 1937, Воронеж

Как землю где-нибудь небесный камень будит, Упал опальный стих, не знающий отца;
Неумолимое – находка для творца не может быть другим – никто его не судит.

20 января 1937, Воронеж

Я нынче в паутине световой, Черноволосой, светло-русой. Народу нужен свет и воздух голубой, И нужен хлеб и снег Эльбруса. И не с кем посоветоваться мне, А сам найду его едва ли, Таких прозрачных плачущих камней Нет ни в Крыму, ни на Урале. Народу нужен стих таинственно-родной, Чтоб от него он вечно просыпался и льнянокудрю, каштановой волной Его звучаньем – умывался.

19 января 1937, Воронеж

Как светотени мученик Рембрандт, Я глубоко ушел в немеющее время, И резкость моего горящего ребра Не охраняется ни сторожами теми, Ни этим воином, что под грозой спят. Простишь ли ты меня, великолепный брат, И мастер, и отец черно-зеленой теми, Но око соколиного пера И жаркие ларцы у полночи в гареме Смущают не к добру, смущают без добра Мехами сумрака взволнованное племя.

4 февраля 1937, Воронеж

Пою, когда гортань – сыра, душа – суха, И в меру влажен взор, и не хитрит сознание: Здорово ли вино? Здоровы ли меха? Здорово ли в крови Колхиды колыханье? А грудь стесняется – без языка – тиха: Уже не я пою – поет мое дыханье И в горных ножнах слух, и голова глуха...

85

Песнь бескорыстная сама себе хвала: Утеха для друзей и для врагов – смола. Песнь одноглазая, растущая из мха Одноголосый дар охотничьего быта, Которую поют верхом и на верхах, Держа дыханье вольно и открыто, Заботясь лишь о том, чтоб честно и сердито На свадьбу молодых доставить без греха

8 февраля 1937, Воронеж

Вооруженный зреньем узких ос, Сосущих ось земную, ось земную, Я чую все, с чем свидеться пришлось, И вспоминаю наизусть и всуе.

И не рисую я, и не пою, И не вожу смычком черноголосым, Я только в жизнь впиваюсь и люблю Завидовать могучим, хитрым осам.

О, если б и меня когда-нибудь могло Заставить, сон и смерть минуя, Стрекало воздуха и летнее тепло Услышать ось земную, ось земную.

8 февраля 1937, Воронеж

Еще он помнит башмаков износ, Моих подметок стертые величье, А я его, – как он разноголос, Черноволос, с Давид-горой гранича.

Подновлены мелком или белком Фисташковые улицы-пролазы, Балкон-наклон-подкова-конь-балкон, Дубки, чинары, медленные вязы...

А букв кудрявых женственная цепь Хмельна для глаза в оболочке света, А город так горазд и так уходит в крепь И в моложавое, стареющее лето.

7–11 февраля 1937, Воронеж

Были очи острее точимой косы По зегзице в зенице и по капле росы,

И едва научились они во весь рост Различать одинокое множество звезд.

8 февраля 1937, Воронеж

86

Обороняет сон свою донскую сонь И разворачиваются черепах маневры, Их
быстроходная взволнованная бронь И любопытные ковры людского говора. И в бой
меня ведут понятные слова За оборону жизни, оборону Страны – земли, где смерть
уснет, как днем сова, Стекло москвы горит меж ребрами гранеными. Необоримые
кремлевские слова; В них оборона обороны И брони боевой, и бровь и голова вместе
с ушами полюбовно собрана. И слушает земля – другие страны – бой, Из хорового
падающий короба: – Рабу не быть рабом, рабе не быть рабой! И хор поет с часами
рука об руку.

13 февраля 1937, Воронеж

Как дерево и медь – фаворского полет, В дощатом воздухе мы с временем соседи, И
вместе нас ведет слоистый флот Распиленных дубов и яворовой меди. А в кольцах
сердится еще смола, сочась Но разве сердце – лишь испуганное мясо? Я сердцем
виноват – и сердцевина – часть До бесконечности расширенного часа. Час
насыщающий бесчисленных друзей, Час грозных площадей с счастливыми глазами Я
обведу еще глазами площадь всей всей этой площади с ее знамен лесами.

11 февраля 1937, Воронеж

Я в львиный ров и в крепость погружен И опускаюсь ниже, ниже, ниже Под этих
звуков ливень дрожжевой Сильнее льва, мощнее пятикнижья. Как близко, близко твой
подходит зов До заповедей рода и первины Океанийских низка жемчугов И таитянок
кроткие корзины... Карающего пенья материк, Густого голоса низинами надвинься!
Богатых дочерей дикарско-сладкий лик Не стоит твоего – праматери – мизинца. Не
ограничена еще моя пора: И я сопровождал восторг вселенский,

87

Как вполголосая органная игра Сопровождает голос женский.

12 февраля 1937, Воронеж

Черновые наброски во 2-й

Воронежской тетради

1.

Пришла наташа. Где была? Небось, не ела, не пила... И чует мать, черна, как
ночь: Вином и луком пахнет дочь...

2.

– Наташа, как писать – балда? – Когда идут на бал, то – да. – А полдень? – Если
день, то вместе, А если ночь, то не скажу, по чести.

3.

О, эта Лена, эта нора, О, эта бездна итр... Эфир, зефир, Элеонора Дух
кислосладкий двух мегер.

На доске малиновой, червонной На кону горы крутопоклонной, Втридорога снегом занесенной Высоко занесся санный, сонный Полугород, полуберег конный, В сбрую красных углей запряженный, желтую мастикой утепленный И перегоревший в сахар жженый. Не ищи в нем зимних масел рая, Конькобежного фламандского уклона, Не раскаркается здесь веселая кривая Карличья в ушастых шапках стая! И меня сравнением не смущая, Срежь рисунок мой, в дорогу дальнюю влюбленный, Как сухую, но живую лапу клена Дым уносит, на ходулях убегая.

6 марта 1937, Воронеж

88

Я скажу это начерно, шепотом, Потому, что еще не пора: Достигается потом и опытом Безотчетного неба игра. И под временным небом чистилища Забываем мы часто о том, что счастливое небохранилище Раздвижной и прижизненный дом.

9 марта 1937, Воронеж

Может быть, это точка безумия, Может быть, это совесть твоя: Узел жизни, в котором мы узнаны И развязаны для бытия. Так соборы кристаллов сверхжизненных Добросовестный луч-паучок, Распуская на ребра, их сызнава Собирает в единый пучок. Чистых линий пучки благодарные Собираемы тонким лучом, Соберутся, сойдутся когда-нибудь, Словно гости с открытым челом. Только здесь, на земле, а не на небе, Как в наполненный музыкой дом, Только их не спугнуть, не изранить бы Хорошо, если мы доживем. То, что я говорю, мне прости. Тихо, тихо его мне прочти.

15 марта 1937, Воронеж

Тайная вечеря

Небо вечери в стену влюбилось Все изрублено светом рубцов Провалилось в нее, отразилось, Превратилось в тринадцать голов. Вот оно, мое небо ночное, Пред которым как мальчик стою, Холодеет спина, очи ноют, Стенобитную твердь я ловлю. И под каждым ударом тарана Осыпаются звезды без глаз, Той же вечери новые раны, Неоконченной росписи мгла.

89

Заблудился я в небе, – что делать? Тот, кому оно близко, ответь! Легче было вам, дантовых девять Атлетических дисков звенеть, Задыхаться, чернеть, голубеть...

Если я не вчерашний, не зряшний, Ты, который стоишь предо мной, Если ты виночерпий и чашник, Дай мне силу без пены пустой Выпить здравье кружащейся башни, Рукопашной лазури шальной.

Голубятни, черноты, скворешни, Самых синих теней образцы, Лед весенний, лед вышший, лед вешний, Облака – обаянья борцы Тише: тучу ведут под уздцы!

19 марта 1937, Воронеж

Кувшин

Длинной жажды должник виноватый, Мудрый сводник вина и воды На боках твоих пляшут козлята И под музыку зреют плоды.

Флейты свищут, клевещут и злятся, Что беда на твоём ободу Черно-красном – и

Стихотворения 1908–1937. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
некому взяться за тебя, чтоб поправить беду.

21 марта 1937, Воронеж

Украшался отборной собачиной Египтян государственный стыд Мертвецов наделял
всякой всячиной И торчит пустячком пирамид.

Ладил с готикой, жил озоруючи И плевал на паучы права Наглый школьник и ангел
ворующий Несравненный Виллон Франсуа.

Март 1937, Воронеж

90

Гончарами велик остров синий Крит веселый. Запекся их дар В землю звонкую.
Слышишь дельфиний Плавников их подземный удар. Это море легко на помине В
осчастливленной обжигом глине, И сосуда студеной власть Раскололась на море и
глаз. Ты отдай мне мое, остров синий, Крит летучий, отдай мне мой труд, И
сосцами текучей богини Напои обожженный сосуд. Это было и пелось, синяя, Много
задолго до одиссея, До того, как еду и питье Называли "моя" и "мое".
Выздоровливай же, излучайся, Волоокого неба звезда, И летучая рыба-случайность,
И вода, говорящая "да".

1937, Воронеж

О, как же я хочу, Нечуемый никем, Лететь вослед лучу, Где нет меня совсем! А ты
в кругу лучись, Другого счастья нет, И у звезды учишь Тому, что значит свет. Он
только тем и луч, Он только тем и свет, Что шепотом могуч И лепетом согрет. И я
тебе хочу сказать, что я шепчу, что шепотом лучу Тебя, дитя, вручу.

27 марта 1937, Воронеж

91

Стихи о неизвестном солдате.

(1) Этот воздух пусть будет свидетелем Дальнобойное сердце его И в землянках
всеядный и деятельный Океан без окна, вещество.

До чего эти звезды изветливы: Все им нужно глядеть – для чего? В осужденье судьи
и свидетеля, В океан без окна вещество.

Помнит дождь, неприветливый сеятель, Безымянная манна его, Как лесистые крестики
метили Океан или клин боевой.

Будут люди холодные, хилые Убивать, голодать, холодать, И в своей знаменитой
могиле Неизвестный положен солдат.

Научи меня, ласточка хилая, Разучившаяся летать, Как мне с этой воздушной
могилою Без руля и крыла совладать,

И за Лермонтова Михаила Я отдам тебе строгий отчет, Как сутулого учит могила И
воздушная яма влечет.

(2) Шевелящимися виноградинами Угрожают нам эти миры, И висят городами
украденными, Золотыми обмолвками, ябедами Ядовитого холода ягодами Растяжимых
созвездий шатры Золотые созвездий миры.

(3) Сквозь эфир десятичноозначенный Свет размолотых в луч скоростей Начинает
число опрозраченный. Светлой болью и молю нулей.

А за подем полей поле новое Треугольным летит журавлем Весть летит светлопыльной
дорогою И от битвы вчерашней светло.

92

Весть летит светлопыльной дорогою Я не Лейпциг, не Ватерлоо, Я не битва народов.
Я – новое, От меня будет свету светло.

В глубине чернораморной устрицы Аустерлица погас огонек Средиземная ласточка
щурится, Вязнет чумный Египта песок.

(4) Аравийское месиво, крошево, Свет размолотых в луч скоростей И своими косыми
подошвами Луч стоит на сетчатке моей. Миллионы убитых задешево Притоптали траву
в пустоте, Доброй ночи, всего им хорошего От лица земляных крепостей.
Неподкупное небо окопное, Небо крупных оконных смертей, За тобой – от тебя –
целокупное Я губами несусь в темноте. За воронки, за насыпи, осыпи По которым он
медлил и мглил, Развороченный – пасмурный, оспенный И приниженный гений могил.

(5) Хорошо умирает пехота, И поет хорошо хор ночной Над улыбкой приплюснутой
швейка, И над птичьим копьем Дон-Кихота, И над рыцарской птичьей плюсной. И
дружит с человеком калека: Им обоим найдется работа. И стучит по околицам века
Костылей деревянных семейка Эй, товарищество – шар земной!

(6) Для того ль должен череп развиться Во весь лоб – от виска до виска, Чтоб его
дорогие глазницы Не могли не вливаться в войска. Развивается череп от жизни Во
весь лоб – от виска до виска, Чистотой своих швов он дразнит себя, Понимающим
куполом яснится, Мыслью пенится, сам себе снится Чаша чаше, отчизна – отчизне,
Звездным рубчиком шитый чепец, Чепчик счастья – шекспира отец.

93

(7) Ясность ясенева и зоркость яворова Чуть-чуть красная мчится в свой дом,
Словно обмороками затоваривая Оба неба с их тусклым огнем. Нам союзно лишь то,
что избыточно, Впереди – не провал, а промер, И бороться за воздух прожиточный
Это слава другим не в пример.

И сознание свое затоваривая Полуобморочным бытием, Я ль без выбора пью это
варево, Свою голову ем под огнем?

Для того ль заготовлена тара Обаянья в пространстве пустом, Чтобы белые звезды
обратно Чуть-чуть красные мчались в свой дом?

Слышишь, мачеха звездного табора Ночь, что будет сейчас и потом?

(8) Наливаются кровью аорты, И звучит по рядам шепотком: – Я рожден в девяносто
четвертом, Я рожден в девяносто втором... И, в кулак зажимая истертый Год
рождения с гурьбой и гуртом, Я шепчу обескровленным ртом: – Я рожден в ночь с
второго на третье Января в девяносто одном. Ненадежном году, и столетья Окружают
меня огнем.

1937, Воронеж

Флейты греческой тэта и йота Словно ей не хватало молвы Неизваянная, без отчета,
Зрела, маялась, шла через рвы.

И ее невозможно покинуть, Стиснув зубы ее не унять, И в слова языком не
продвинуть, И губами ее не размять.

А флейтист не узнает покоя Ему кажется, что он – один, Что когда-то он море
родное Из сиреневых вылепил глины.

94

Звонким шепотом честолюбивым, Вспоминающим шепотом губ Он торопится быть
бережливым, Емлет звуки, опрятен и скуп.

Стихотворения 1908–1937. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru

Вслед за ним мы его не повторим, Комья глины в ладонях моря, И когда я наполнился морем, Мором стала мне мера моя.

И свои-то мне губы не любы, И убийство на том же корню. И неволью на убыль, на убыль Равноденствие флейты клоню.

7 апреля 1937, Воронеж

Нереиды, мои нереиды, Вам рыданье – вода и питье. Дочерям среди зимней обиды Состраданье обидно мое.

Я к губам подношу эту зелень, Эту клейкую клятву листов, Эту клятвопреступную землю: Мать подснежников, кленов, дубков. Погляди, как я крепну и слепну, Подчиняясь смиренным корням; И не слишком ли великолепно От гремучего парка глазам? А квакуши, как шарики ртути, Голосами сцепляются в шар, И становятся ветками прутья И молочной выдумкой пар.

30 апреля 1937

Как по улицам Киева-вия Ищет мужа, не знаю чья, жинка, И на щеки ее восковые Ни одна не скатилась слезинка. Не гадают цыганочки кралям, Не играют в купеческом скрипки, На Крещатике лошади пали, Пахнут смертью господские липки. Уходили с последним трамваем Прямо за город красноармейцы, И шинель прокричала сырая: "Мы вернемся еще, разумеите!"

апрель 1937

95

Клейкой клятвой пахнут почки, Вот звезда скатилась, Это мать сказала дочке, Чтоб не торопилась.

"Подожди", – шепнула внятно Неба половина И ответил шелест скатный: "Мне бы только сына..."

Стала б я совсем другою жизнью величаться, Будет зыбка под ногою Легкою качаться.

Будет муж, прямой и дикий, Кротким и послушным, Без него, как в черной книге, Страшно в мире душном..."

Подмигнув на полуслове, Запнулась зарница. Старший брат нахмурил брови. Жалится сестрица

Ветер бархатный, крыластый Дует в дудку тоже, Чтобы мальчик был лобастый, На двоих похожий.

Спросит гром своих знакомых: "Вы, грома, видали, Чтобы липу до черемух Замуж выдавали?"

Да из свежих одиночеств Леса – крики пташьи, Свахи-птицы свищут почесть Льстивую Наташе.

И к губам такие липнут Клятвы, что, по чести, В конском топоте погибнуть Мчатся очи вместе.

Все ее торопят часто: "Ясная Наташа, Выходи, за наше счастье, За здоровье наше!"

2 мая 1937

96

1 К пустой земле невольно припадая, Неравномерной сладкою походкой Она идет, чуть-чуть опережая Подругу быструю и юношу-погодка. Ее влечет стесненная свобода Одушевляющего недостатка, И кажется, что ясная догадка В ее походке хочет задержаться О том, что эта вешняя погода Для нас – праматерь гробового свода, И это будет вечно начинаться.

2 Есть женщины, сырой земле родные, И каждый шаг их – гулкое рыданье. Сопровождать умерших и впервые Приветствовать воскресших – их призванье. И ласки требовать от них преступно, И расставаться с ними непосильно. Сегодня – ангел, завтра – червь могильный, А послезавтра – только очертанье. Что было поступь – станет недоступно. Цветы бессмертны. Небо целокупно. И то, что будет, – только обещанье.

4 мая 1937

На меня нацелилась груша да черемуха Силою рассыпчатой бьет меня без промаха. Кисти вместе с звездами, звезды вместе с кистями, Что за двоевластье там? В чьем соцветьи истина? С цветцу ли, с размаха ли, бьет воздушно-цельми Воздух, убиваемый кистенями белыми. И двойного запаха сладость неуживчива: Борется и тянется – смешана, обрывчива.

4 мая 1937

97

Рим

Где лягушки фонтанов, расквакавшись И разбрызгавшись, больше не спят И, однажды проснувшись, расплакавшись, Во всю мочь своих глоток и раковин Город, любящий сильным поддакивать, Земноводной водою кропят,

Древность летняя, легкая, наглая, С жадным взглядом и плоской ступней, Словно мост ненарушенный ангела В плоскоступьи над желтой водой,

Голубой, онелепленный, пепельный, В барабанном наросте домов, Город, ласточкой купола лепленный Из проулков и из сквозняков, Превратили в убийства питомник Вы, коричневой крови наемники, Итальянские чернорубашечники, Мертвых цезарей злые щенки...

Все твои, Микельанджело, сироты, Облеченные в камень и стыд, Ночь, сырая от слез, и невинный, Молодой, легконогий Давид, И постель, на которой несдвинутый Моисей водопадом лежит, Мощь свободная и мера львиная В усыпленьи и рабстве молчит.

И морщинистых лестниц уступки В площадь льющихся лестничных рек, Чтоб звучали шаги, как поступки, Поднял медленный Рим-человек, А не для искалеченных нег, Как морские ленивые губки.

Ямы форума заново вырыты, И раскрыты ворота для ирода, И над римом диктатора – выродка Подбородок тяжелый висит.

16 марта 1937

98

Заблудился я в небе, – что делать? Тот, кому оно близко, ответь! Легче было вам, дантовых девять Атлетических дисков, звенеть. Не разнять меня с жизнью, – ей

Стихотворения 1908–1937. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshtamjoseph.ru
снится Убивать и сейчас же ласкать, Чтобы в уши, в глаза и в глазницы
Флорентийская била тоска. Не кладите же мне, не кладите Остроласковый лавр на
виски, Лучше сердце мое разорвите Вы на синего звона куски! И когда я умру,
отслуживши, Всех живущих прижизненный друг, Чтоб раздался и шире и выше Отклик
неба во всю мою грудь!

19 марта 1937

Переводы из Петрарки

1. Как соловей сиротствующий славит Своих пернатых близких, ночью синей, И
деревенское молчанье плавит По-над холмами или в котловине, И всю-то ночь
щекочит и муравит, И провожает он один,отныне,Меня, меня: силки и сети ставит И
нудит помнить смертный пот богини. О радужная оболочка страха! Эфир, очей,
глядевших в глубь эфира, Взяла земля в слепую люльку праха. Исполнилось твое
желанье, пряха, И, плачучи, твержу – вся прелесть мира Ресничного недолговечней
взмаха.

ноябрь 1933

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://mandelshtamjoseph.ru/> Приятного чтения!
<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы,
недвижимость. Здоровый образ жизни.
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет
магазин обуви Интернет магазин
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных
сайтов. Интеграция, Хостинг.
<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография
<http://dostoevskiyfyodor.ru/>
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!